

АНДРЕЙ СЕДЫХ – ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ

АНДРЕЙ СЕДЫХ

**ДАЛЕКИЕ,
БЛИЗКИЕ**

АНДРЕЙ СЕДЫХ

ДАЛЕКИЕ,

БЛИЗКИЕ

Cover by Saul Edelbaum

Copyright 1962 by the Author

Книга эта родилась из отдельных очерков, написанных в разное время о разных людях, с которыми сводила меня судьба. Отношения складывались не всегда одинаково: одних я просто знал, с другими дружил, — были они людьми близкими. Все они, к несчастью, теперь далеки... Отсюда и название книги.

По мере того, как отдельные главы появлялись в периодической печати, читатели обращали внимание на некоторые допущенные мною пропуски биографического характера. Пропусков нет: это — не биографии и не опыт литературной, артистической или какой-либо иной характеристики. Это — личные воспоминания, только то, что я видел и слышал, что связывало меня с этими людьми.

Как ни случайны эти воспоминания, мне казалось полезным их сохранить: мое поколение уходит и многое будет забыто.

Читателей, вероятно, смутит откровенность, с которой я говорю о бедности некоторых писателей. Сделано это сознательно и это — дань их мужеству. И. А. Бунину, например, предлагали в случае возвращения в СССР богатую, обеспеченную жизнь. Только прочтя письма, в которых он рассказывает о своей «нищете старости», становится понятно, как велик подвиг писателя, обрекшего себя на моральные и физические лишения во имя сохранения личной свободы.

Есть вещи, которые следует опубликовать, ибо советские литературоведы теперь стараются превратить многих выдающихся русских эмигрантов, упорно не желающих вернуться умирать на родину, в «советских патриотов». Закрывать на эти факты глаза, или продолжать их замалчивать дальше, значит не понять до конца горькую судьбу людей, уже далеких, но еще близких нам.

Андрей СЕДЫХ

А. И. КУПРИН

ИСПОЛНИЛОСЬ всегдашнее желание Куприна: умереть у себя дома, на русской земле. Когда Александр Иванович внезапно уехал в Россию, его никто не осудил за «измену эмиграции». Знали, что в Россию увезли больного, беспомощного старика, уже плохо сознававшего, что с ним происходит. Но было бы ошибочно думать, что эта последняя, трагическая поездка Куприна не соответствовала его сокровенным желаниям... Вспоминаю я один разговор в Париже, на похоронах писателя-эмигранта. Похороны были бедные, грустные, — пришло особенно мало людей, — и на обратном пути Александр Иванович вдруг взял меня под руку, — вид у него был очень несчастный:

— Умирать нужно в России, дома, — сказал он тихо. — Так же, как лесной зверь, который уходит умирать в свою берлогу.

Видимо, с каких то пор мысль эта его не оставляла. Несколько месяцев спустя мы отправились гулять, как это делали часто, шли вдвоем по весеннему парижскому бульвару. Александр Иванович радостно щурился на солнце, любовался молодой зеленью каштанов, которые уже начинали зацветать, а потом, совсем неожиданно и без связи с тем, о чем мы беседовали, сказал:

— А знаете, я верю, что умирать уеду в Россию.

— С чего это вы, Александр Иванович?

— Уеду, и вот, когда-нибудь в Москве ночью пронесусь и вспомню этот бульвар, эти каштаны, любимый и проклятый Париж, и так заноет душа от тоски по этому городу!

Об этом возвращении в Россию он думал, должно

быть, часто. И когда жена начала хлопотать и списываться с И. Я. Билибиным и с Алексеем Толстым, который уехал в Россию, совсем не из тоски по родине, как пишет теперь Илья Эренбург, а скорее чтобы скрыться от кредиторов и портных, — Куприн не возражал, а по детски радовался: вернуться в Москву!.. В этот период парижской жизни он был уже тяжко болен. Не узнавал даже самых близких людей и однажды поразил пользовавшего его русского врача таким разговором:

— А знаете, я скоро уезжаю в Россию.
— Как же вы поедете туда, Александр Иванович?

Ведь там — большевики.

Куприн растерялся и переспросил:

— Как, разве там — большевики?

Замолчал, и больше уж на эту тему разговора не возобновлял. А на вокзале, садясь в вагон, он сказал:

— Я готов был пойти в Москву пешком, по шпалам.

Был он связан с Россией такими кровными узами, что оторвавшись от родной земли уже не мог писать, сознавал это и испытывал величайшие страдания.

— Писал в Париже Тургенев, — жаловался он. — Мог писать вне России. Но был он вполне европейский человек, и было у него душевное спокойствие. Горький и Бунин писали на Капри прекрасные рассказы. Бунин там написал свою «Деревню». Но ведь у них было тогда чувство, что где-то, далеко, у них есть свой дом, куда можно вернуться, припасть к родной земле, набраться от нее сил... А ведь сейчас у нас чувства этого нет, и быть не может: скрылись мы от дождя огненного, жизнь свою спасая. Есть люди, которые по глупости или от отчаяния утверждают, что и без родины можно, или что родина там, где ты счастлив... Но, простите меня, все это притворяжки перед самим собой. Мне нельзя без России. Я дошел до того, что не могу спокойно письма написать туда, ком в горле... Вот уж, правда, «растворяж хлебвой слезами».

Несчастье Куприна заключалось в том, что он не мог писать по памяти, как Бунин, Шмелев, Зайцев или

Ремизов. Куприн всегда должен был жить жизнью людей, о которых писал, — будь то балаклавские рыбаки или люди из «Ямы».

— Ничего никогда я не выдумывал, — говорил мне Куприн о методах своей работы. — Жил я с теми, о ком писал, впитывал их в себя, барабхался страстно в жизни. Потом все постепенно отстаивалось и нужно было только сесть за стол и взять в руки перо... А теперь что? Скука зеленая.

Это был черный день. Но бывали дни другие, спокойные, даже радостные. На широком, некрашеном столе появлялась бутылка вина и тарелка с медовыми пряниками из соседней русской лавочки. Александр Иванович разливал по стаканам и говорил с улыбкой, — он любил улыбаться и на лице его при этом появлялось какое-то детское выражение:

— Ну, поздороваемся!

Закусывали пряником, и сразу повеселевший Куприн начинал вспоминать прошлое. Рассказывал он охотно, не повышая голоса, скороговоркой:

— Первый гонорар, — нет, это, брат, не забудешь! Десять рублей прислали мне из журнала. Огромнейшая была тогда сумма... Я на эти деньги купил матери козловые ботинки, а на оставшийся рубль пошел в манеж и поскакал. Люблю лошадей!

С этим первым рассказом, который принес ему десять рублей гонорару, вышла большая неприятность. Куприн был тогда еще в юнкерском училище, и когда пришел номер с рассказом, юнкера вызвали к начальству.

— Куприн, ваш рассказ?

— Так точно!

— В карцер!

Так сказать, в назидание на будущее время: не печатайся без разрешения начальства!

Сидя в карцере, Куприн от скуки прочитал свой рассказ отставному солдату, старому училищному дядьке. Выслушал он внимательно и сказал юному автору, ждавшему комплиментов:

— Здорово написано, ваше благородие! А только понять ничего нельзя.

**
*

Александр Иванович очень любил молодых и всячески им помогал. Пришел я к нему за интервью для иллюстрированного журнала, — был тогда безусым юношей, а Куприн усадил меня, как почетного гостя, в мягкое кресло, сам сел на стул, обласкал, и вдруг оказалось, что читал какие то мои очерки и очень хвалит. Это была очень характерная черта его — благородство и благожелательность, постоянная готовность помочь начинающему писателю. Года два спустя, когда мы сдружились, он сам предложил написать предисловие к моей книге «Париж ночью» и предисловие вышло лестное. Перед этим долго и строго меня допрашивал:

— Почему беллетристику не пишете? Пора перейти на рассказы.

— Да я очень люблю газету, Александр Иванович. И журналистика — занятное ремесло.

Куприн поднял свое татарское, скуластое лицо с широким, сломанным и несколько приплюснутым носом и начал смеяться:

— Ну, вам виднее! Хороший журналист всегда лучше посредственного писателя... А вы, все-таки попробуйте. Может выйти.

Оригинал написанного им предисловия сохранился у меня до сих пор, в нем он высказывает ту же мысль о преимуществах журналиста перед беллетристом. Предисловие написано тем корявым почерком, который так был характерен для последних лет Куприна. Строчки сползают куда-то вниз, и всюду — бесчисленные вставки и помарки («Без помарок не умею»). К сожалению, хранившаяся у меня пачка отобранных, самых интересных писем Куприна погибла в 1940 году, попав во время обыска в руки агентов Гестапо. Уцелело лишь несколько писем, случайно бывших в общем архиве. Вот одно из них, без даты, вероятно относящееся к 1929 году. Я запраши-

вал Александра Ивановича, над чем он работает? Ответ был написан в духе шутливом:

«Над чем я работаю? Над письменным столом. На нем у меня около тысячи самых разнообразных предметов. Каждое утро, не внимая моим ежедневным мольбам, наша Мария Михайловна приводит этот стол в симметрический порядок, я же трачу целых двенадцать часов на то, чтобы привести его в привычный и удобный для моих занятий беспорядок. А на завтра то же самое.

Что я задумал? Поехать на Таити. Об этом я думаю непрерывно с 1899 года, но никак не удается».

**

В молодости Куприн жил буйно, был страшен во хмель, злоупотреблял своей физической силой и временами делал вещи бессмысленные и даже жестокие. Таким я его не знал, — мы познакомились поздно, в Париже, и тогда Александр Иванович уже был совсем иным, — годы и болезнь сломили его, он сделался мягким и ласковым.

Жил Куприн по соседству, очень близко от Булонского Леса, и я часто к нему заходил. Осенью в его комнате, оклееной белыми обоями с цветочками, пахло гниющими листьями и теплой, влажной землей. Кот «Ю-ю», которого потом тоже увезли в Россию, вместе с хозяином, мирно спал на столе, развалившись на рукописях, на больших белых листах, исписанных почерком человека, которому уже плохо повинуется рука.

— Презирает меня кот, — жаловался Александр Иванович. — Презирает. А почему — не знаю. Должно быть, за поведение...

Кота своего он обожал и тот держал себя в доме настоящим тираном, разгуливал по столу во время обеда, норовил лизнуть с тарелки. Такой же кот был и у Н. А. Тэффи, также разгуливал он свободно по столу, обнюхивал печенье, и Надежда Александровна негодовала, что я после этого не хочу есть это печенье, за которым она специально ходила в хорошую кондитерскую... Любил

еще Куприн птиц, собак, лошадей, — я ни разу не видел, чтобы он прошел мимо пса на улице и не остановился, чтобы его не погладить. Но настоящей страстью были лошади, — он искренне был убежден, что лучшее в «Анне Карениной» — это лошадь Вронского «Фру-Фру» и описание его скачки.

— У меня эта любовь к лошадям в крови, от татарских предков, — вполне серьезно говорил он. — Мать была урожденная княжна Куланчакова. А по татарски «куланчак» означает — жеребец... Я с детства на лошадях по степи гонял, да как!

Многие находили, что в Куприне было что то от большого «зверя». Тэффи мне говорила:

— Вы обратите внимание, как он всегда принюхивается к людям! Потянет носом и конец, — знает, что за человек.

Тэффи вообще Александра Ивановича очень любила и она первая дала мне правильное определение его двойной натуры:

— Он — грубый и нежный.

Во время прогулок Куприн всегда что-нибудь вспоминал, или изображал в лицах. Раз неожиданно начал меня уверять, что в юнкерскую школу попал по недоразумению — с детства мечтал стать лесничим, ходить с собакой и с ружьем по лесу. Потом, подав в отставку и уйдя из полка, увлекся авиацией и едва не погиб, — случилось это во время полета с приятелем, борцом Заикиным.

— Аэроплан тяпнулся, сплошная яичница, а мы — живы. До сих пор не пойму, каким образом. Должно быть, Николай Угодник спас... Заикина знаете?

О Заикине знал я лишь по наслышке, но портрет борца висел в кабинете Куприна на почетном месте, рядом с Репиным.

— Да... Ушел я, значит, в отставку и с жадностью набросился на жизнь. Чего только не видел, чем не занимался! Был я землемером. В Полесье выступал предсказателем. Артистом был в городе Сумы. Изобра-

жал больше лакеев и рабов. А потом с балаклавскими рыбаками связался, славные были ребята. Кирпичи на козе таскал, арбузы в Киеве грузил. Был я псаломщиком, махорку сажал, в Москве продавал замечательное изобретение «Пудр-клозет» инженера Тимаховича. Преподавал в училище для слепых, а когда меня оттуда выгнали, пошел на рельсо-прокатный завод.

Писать я серьезно стал только присмотревшись к жизни, набравшись впечатлений. Литературой занялся случайно. Скажу правду, писать не люблю, трудно мне писать, а рассказывать люблю, и жизнь тоже люблю. И еще люблю простых людей, есть у меня доступ к простым сердцам.

Он говорил правду. В нашем квартале Куприна знали все садовники, а с одним из них он совсем сдружился, — кажется, по линии выпивки. Звали его Пьер. Этот Пьер напивался, как дрозд, а затем приставал к Куприну:

— Мэтр, я не Пьер. Я — Артур.

Как так? А очень просто. Когда трезвый, то Пьер. А как напьется — раздвоение личности, и уже он не Пьер, а какой-то второй, таинственный Артур... И Куприн восхищался:

— Ведь какая фантазия, а?!

**

Недавно я прочел, что именно в этот период парижской жизни была у Куприна некая сердечная тайна. В течение ряда лет 13-го января, в канун русского Нового Года, он уходил в маленькое бистро и там, «один, сидя за бутылкой вина, писал нежно и почтительно любовное письмо к женщине, которую очень мало знал, но которую любил скрытой любовью». Возможно, именно к этой тайной и безнадежной любви и относится одно его стихотворение, опубликованное уже после его смерти в журнале «Огонек».*

* «Огонек», 1958 г. № 6.

НАВСЕГДА

«Ты смешон с седыми волосами...»
Что на это я могу сказать?
Что любовь и смерть владеет нами?
Что велений их не избежать?
Нет. Я скрою под учтивой маской
Запоздалую любовь мою...
Развлеку тебя забавной сказкой,
Песенку веселую спою.
Локтем опершись на подоконник,
Смотришь ты в душистый, темный сад.
Да. Я видел: молод твой поклонник.
Строен он, и ловок, и богат.
Все твердят, что вы друг другу пара,
Между вами только восемь лет.
Я тебе для свадебного дара
Присмотрел рубиновый браслет.
Жизнь новой, светлой и пригожей,
Заживешь в довольстве и в любви
Дочь родится на тебя похожей.
Не забудь же, в кумовья зови.
Твой двойник! Я чувствую заране —
Будет ласкова ко мне она.
В широте любовь не знает граней.
Сказано: «Как смерть она сильна».
И никто на свете не узнает,
Что годами, каждый час и миг,
От любви томится и страдает
Вежливый, внимательный старик.
Но когда потоком жгучей лавы
Путь твой перережет гневный Рок,
Я охотно, только для забавы,
Беззаботно лягу поперек.

Существовала ли в действительности эта женщина? Не знаю. Куприн был человеком по рыцарски целомудренным и никого не пускал в тайники души своей. О

многом из своего прошлого он вообще не любил рассказывать, был временами скрытен. Но как странно: и в «Гранатовом браслете», написанном еще в России, в период его большой славы, и в парижском стихотворении состарившегося Куприна — одна и та же тема, один и тот же трагический лейт-мотив: неразделенная, какая-то экзальтированная и возвышающая любовь к недоступной женщине.

**

Иногда в полдень мы шли в знакомое бистро на улице Доктора Бланша. Александр Иванович, кажется, любил это бистро потому, что название улицы напоминало ему о любимом Мопассане. Куприн шел в помятой, криво надетой шляпе, татарские его глазки весело улыбались, и он все жаловался, что из него «никак старик не выходит».

Бистро было маленькое, с цинковой стойкой. Сюда заглядывали каменщики в белых фартуках, маляры, — народ мастеровой, любящий выпить и поговорить. Куприна все здесь знали, здоровались и запросто называли «мосье Александр». На столе тотчас же появлялись две внушительного размера рюмки с кальвадосом, желтовой нормандской водкой, от которой захватывает дух и огонь проходить по всему телу. Хозяйка, мадам Мари, была женщиной приветливой, Куприн пытался сказать ей какой-то комплимент на своем необыкновенном и живописном французском языке. Хозяин знал свое дело, внимательно следил за рюмками и во время наливал по второй. В те годы Александр Иванович еще пил, но от второй рюмки он уже хмелел... Развязка приближалась быстро. Появился склероз и мучительная болезнь, перемещение сетчатой оболочки. Встречи наши стали происходить значительно реже. Помню последнюю прогулку. Он пришел на свидание в своем просторном, коричневом пальто, как то сбившемся на бок. Седая бороденка клином была всклокочена, выцветшая шляпа носила уж очень беженский вид.

— Возьмите меня под руку, — сказал Куприн. — Ходить прямо я еще могу, а вот поворачивать — боюсь, не уверен. И зайдем, знаете, в лавочку к Суханычу.

— А вам можно, Александр Иванович?

— Теперь все можно! — махнул он рукой.

Зашли в русскую лавочку, Куприн съел пирожок и слегка дрожавшей рукой поднес ко рту и опрокинул рюмку водки. В лавке было шумно, тесно, приезжали закусить русские шофферы, толпились покупатели, и какая-то древняя старуха-француженка с подозрительным видом рассматривала через лорнетку непонятные ей пирожки, а хозяин, — тот самый о котором часто писал Ремизов, — упитанный и краснощекий, на смешанном французско-нижегородском языке говорил:

— Прене, мадам. Сэ бон!

**

В «Воспоминаниях» Бунина есть несколько страшных строк — рассказ, относящийся именно к этому периоду: «...я как то встретил его на улице и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза».

Старые друзья навещали его редко, да он и не всегда их узнавал. Пришел как-то Б. К. Зайцев. Поздоровалась. Куприн сидел в кресле и явно не понимал, кто это. Жена, Елизавета Маврикиевна, сказала:

— Папочка, это Борис Константинович пришел тебя проведать... Борис Константинович Зайцев!

Тут только он вспомнил и начал разговаривать... В последний раз зашел я к нему за несколько недель до отъезда. Спросил о здоровье, потом о работе, — пишет ли? Спрашивать было грешно, — какое уж тут могло быть писание! Куприн поник головой и буркнул в ответ:

— Все это никому не нужно. Не могу я больше писать... Баста!

Потом его увезли в Россию.

Недавно я прочел у Телешова о последних месяцах жизни Куприна. Поселили его в каком-то подмосковном доме отдыха для писателей. Приехали туда в гости матросы-балтийцы. День был хороший, пели хором на лужайке, устроили игры. Александра Ивановича тоже вынесли в кресле на лужайку. Матросы подходили к нему, пожимали руку, говорили, что читали его «Поединок» и другие вещи, благодарили. Куприн молчал и вдруг громко заплакал.

Так он и умер — успокоенный и примиренный. Теперь закрываю глаза и стараюсь представить себе мертвого Александра Ивановича, и не могу: идет по улице улыбающийся человек с татарским, широкоскульным лицом, в помятой, криво надетой шляпе, — живой Куприн.

ВОЛОШИН И МАНДЕЛЬШТАМ

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН умер в Крыму, в своем родном Коктебеле 11 августа 1932 года, в полу-денный час, когда в сухой полыни, за пляжем громко трещали цикады. Сколько же лет прошло со времени нашего знакомства? Волошина я знал, будучи еще гимназистом. Зиму и лето он жил в Коктебеле, по соседству с моей Феодосией, и для мальчиков, тайно писавших стихи, этот поэт с всероссийским именем казался каким-то языческим полу-богом, окруженным сиянием. И Волошин тщательно культивировал в себе это «языческое» начало. Он бродил по пустынному коктебельскому пляжу, — самому красивому в мире, — в белом полотняном балахоне, спускавшемся ниже колен; балахон был явно российским вариантом греческого хитона. На босых ногах — сандалии. Тонкий ремешок или веночек из сухих трав охватывал лоб и шапку буйно золотистых волос. Борода его вилась колечками. Так афинские ваятели изображали златокудрого Зевса.

Волошин был достопримечательностью нашего города, наравне с музеем Айвазовского или Генуэзской Башней, но и он любил Феодосию, черноморский рубеж России, где явственно чувствовались уже запахи и краски Востока.

И скуден и неукрашен
Мой древний град
В венце Генуэзских башен,
В тени аркад;
Среди иссякших фонтанов
Хранящих герб

То дожей, то крымских ханов:
Звезду и серп;
Под сенью тощих акаций
И тополей,
Средь пыльных галлюцинаций
Седых камней...

Столичные жители приезжали на виноградный сезон и после нескольких дней, проведенных в Феодосии, нанимали линейку под парусиновым навесом или фаэтон и отправлялись в Коктебель. Там заболевали они «каменной болезнью», — бродили часами по берегу и собирали выброшенные приливом прозрачные цветные камешки-халцедоны, аметисты, горный хрусталь или янтарь. Дикими горными тропинками поднимались на Карадаг. Но главным развлечением было наблюдать рано утром, как Волошин выходит на террасу своей башни «поклоняться солнцу».

Вспоминаю первую нашу встречу. Знойным июльским днем мы шли в Коктебель. Всего 18 верст по довольно унылой дороге. Сначала голая, уже выжженная солнцем степь, потом предгорье, невысокие, отлогие холмы. Почему то надели болгарские посталы, завернули ноги в тряпки и, конечно, с непривычки натерли себе волдыри. Шли медленно, была страшная жара. Над степью, над высохшими травами и низкорослым кустарником, струился горячий воздух. Вдруг, верстах в четырех от Коктебеля, на дороге показалось облако пыли. Облако быстро к нам приближалось, из него вылетел вдруг странный велосипедист, в длинном балахоне из грубого полотна, перевязанного у пояса шнурком. Казалось странным, что этот очень полный человек, так ловко работает педалями и так быстро перебирает мускулистыми, короткими ногами. Позже я это проверил: несмотря на свою толщину («триста фунтов мужской красоты», говорил он про себя), Максимилиан Александрович был необыкновенно легким и подвижным человеком.

Зевс слез с велосипеда, — он знал некоторых из на-

шей группы и затеял разговор. Потом сказал, что обедает на даче у Паскиных, чтобы мы обязательно пришли к нему вечером, в башню, — будут стихи, — и укатил назад, к лазоревому морю, снова поднимая тучи пыли.

**
*

Башня эта была замечательной выдумкой самого Волошина. По началу на самом берегу была просто большая, светлая мастерская. Потом Максимилиан Александрович пристроил второй этаж и террасу, и получилась башня, маяк. И море, лениво плескавшееся почти у самой стены, стало как-то еще ближе.

Внизу — мастерская, письменный стол, простая мебель домашнего изdelья. Если сидеть за столом, в окно земли не видно: только море и Карадаг. Стены были увешаны картинами Волошина, любившего живопись, — в годы коммунизма акварели спасали его от голодной смерти. Преобладали ярко синие и желтые крымские тона, — цвета моря, неба и песчаных холмов. Многому он научился у академика Богаевского, жившего тут же, по соседству. Большое полотно Богаевского висело на самом почетном месте, над низким ложем поэта, покрытым какой-то рыжей шкурой.

А во втором этаже была библиотека-галерея, куда взбирались по узкой лестнице. Тысячи томов на разных языках: история искусства, религии, философия, поэзия, прозаики русские и французские, — Волошин был подлинным кладезем знаний, исключительно образованным человеком. В доме было еще множество сувениров, собранных Максом за годы странствий. В центре всего — голова египетской царицы Тайах, химеры парижской Нотр Дам, басский нож, самаркандские четки и кастаньеты, купленные в Севилье, — те самые, о которых он писал:

Я привез тебе в подарок
Пару звонких кастаньет.

Здесь были хрусталь и аметисты Карадага, кусты белых кораллов и фантастические габриаки, — корни деревьев, источенные и вышлифованные морем и выброшенные прибоем на берег. Теперь эти мертвые, высушенные корни очень модны и украшают самые «модернистические» квартиры. Волошин собирал габриаки полвека назад, когда об этом еще никто не думал.

Стихи читали ночью, на террасе, при лунном свете. Все рассаживались, кто на ковре, кто на принесенных одеялах. Волошин отходил в сторону, закладывал руку за спину и низким, немного загробным и певучим голосом, как тогда читали все поэты, начинал:

...Убиенный много и восставший.
Двадцать лет со славой правил я
Отчею Московскою Державой,
И годины более кровавой
Не видала русская земля.

Он читал много и охотно. За «Демонами Глухонемыми» следовали его чудесные стихи о Франции, о голове мадам де Ламбалль, плывущей на пике, над толпой. ...«И казалось в Версале, на бале я, плавный танец кружит и несет», — и мы слышали этот плавный танец в голосе Волошина. Потом он читал о том, как «в дождь Париж расцветает», — и мы старались представить, как расцветают в мокрой пелене крыши парижских домов и асфальтовые бульвары, и завидовали, что он жил в Париже. Мог ли я тогда думать, что пройдет еще два года, и я буду стоять у окна, смотреть на парижскую улицу, сверкающую под дождем и читать Волошина: «В дождь Париж расцветает...»

Это был период его цикла стихов о России. Большинство их я слышал от самого Максимилиана Александровича либо в Коктебеле, либо в феодосийском Литературно-Артистическом Кружке, на вечерах которого он неизменно выступал. Воспитанный на французской поэзии, Волошин в страшные революционные годы вдруг

страстно полюбил «во Христе юродивую Русь» и во время кровавой братоубийственной войны молился «за тех и за других», — и те и другие не очень за это были благодарны. Как это не стоило ему жизни? Власть в Крыму менялась постоянно. Волошина с одинаковым успехом могли расстрелять и белые, и красные: следователи по особо-важным делам не очень то разбирались в мистических чувствах поэта. Были у него и другие грехи: при белых у Волошина прятались матросы, а при красных — спасались от расстрела офицеры.

Волошина болезненно влекла к себе именно юродивая, «великая, темная, пьяная, окаянная» Русь, народные заступники — Пугачевы, Разины и Отрепьевы. В людях Октября видел он исторических наследников этой окаянной Руси и, кажется, именно в силу этой исторической неизбежности — их принимал и подчинялся им, как горькой судьбе... «Нам ли весить замысел Господний? Все поймем, все вынесем любя».

Волошинские стихи этого периода принадлежали к так называемой «поэзии гражданской», т. е. к тому виду, к которому у нас принято относиться с некоторым предубеждением. Со всех точек зрения это несправедливо, — и с чисто поэтической, и с гражданской. Волошин лирик и символист всегда будет достоянием только ограниченного круга читателей. Но гражданские его стихи и сегодня звучат, как некое мрачное и пророческое вещание. Сорок лет прошло с того времени, как Волошин впервые читал в небольшом кругу свое стихотворение «Святая Русь», а я и сейчас вижу его, как живого: крепкого коренастого, прочно стоящего на земле, слышу все модуляции его горячего голоса. Читал он это стихотворение немного по старинке, по актерски, — был в нем и «соловьиный посвист» и горечь «последнего раба» и подлинный облик взвихренной Руси, «бездомной, гулящей, хмельной», перед которой склонялся поэт, «след босой ноги благословляя»...

**

Часто появлялся он на улицах Феодосии, но уже не в хитоне, а в изрядно потертом бархатном костюме парижских художников и анархистов. Хитону всегда отдавал предпочтение и объяснял:

— Современное платье не только прячет человеческие формы, — оно противоречит им. В складках тоги всегда живет воспоминание о человеческом теле...

Все же, носить тогу на Итальянской улице не решался, — и без того на него все глазели. «Когда Волошин появлялся на щербатых феодосийских мостовых в городском костюме: шерстяные чулки, плисовые штаны и бархатная куртка, писал Осип Мандельштам в «Шуме Времени» — городок охватывало как бы античное умиленье, и купцы выбегали из лавок».

Это одеяние на другом человеке, на улицах глухой русской провинции, показалось бы диким, но Волошину как то шло. Он был человеком необыкновенным, одевался и держался тоже необыкновенно. Говорил много, поражая всех своей эрудицией. Но было в нем и нечто другое, что люди знали и ценили в Максимилиане Александровиче: был он человеком необыкновенной доброты и щедро дарил себя всем, кто испытывал в нем нужду. Вечно кого-то устраивал в журналы, за кого-то хлопотал. В голодные годы делился буквально последним куском хлеба с чужими людьми, которые искали в его доме пристанища, а таких было много. В страшный двадцатый год Волошин нашел на дороге, вблизи Коктебеля, умиравшую сестру милосердия. Привел ее в дом, и она осталась в нем навсегда, и впоследствии стала его женой.

Еще до первой мировой войны литераторы, актеры и художники летом устремлялись в Крым или ехали, без предупреждения, прямо к «Максу». Принимала их мать Волошина, странная женщина, коротко стригшая прямые седоватые волосы и всегда одевавшаяся по мужски: балахон или кафтан, синие шаровары, козлиные сапожки, и вечная папироса в пожелтевших от никотина пальцах.

Все почему то звали ее Пра, хотя настоящее ее имя было Елена Оттобальдовна, — в венах Максимилиана Александровича было много немецкой крови и, может быть оттуда — эта внешность друида и холодные, светло-голубые глаза, — холод их смягчала вечная улыбка на добром лице.

Пра вела довольно сложное хозяйство, кое как кормила порядочную ораву людей. В Коктебеле и в мирное время ели плохо, — чебуреки у татарина казались нам верхом изысканной гастрономии. Не было даже захудалой лавочки, кое что привозили из соседней болгарской деревни или из Феодосии, и даже воды своей не было, — ее доставлял в бочке водовоз из далекого источника... Но жили весело и интересно: купались, собирали цветные камешки, совершали восхождения на Карадаг. С вершины его виден был хребет Карагач, скала Иван-разбойник, а в хорошую погоду на юго-западе можно было различить зубцы Ай-Петри. Все в доме Волошина писали стихи и прозу, вели бесконечные споры и Макс руководил дебатами... Пресловутый «Зеленый Крокодил», который потом распевала вся Россия, родился именно в Коктебеле, и ходил он с кусочком одеяла по берегу у дачи Волошина. Помню отрывок из первого, коктебельского варианта: крокодил забрался ночью в башню поэта:

Максимилиан Волошин
Был так переполошен,
Что он и Пра,
Не спали до утра.

Мало встречал я в жизни столь богато одаренных людей, каким был Волошин. Может быть эта чрезмерная одаренность, красочность и вечно мятущаяся душа мешали ему в жизни. Был он — прежде и превыше всего — поэтом, но иногда уходил от поэзии в живопись, потом вдруг увлекался теософией, французскими средневековыми мистиками или эллинизмом. Когда в Коктебеле мы рассматривали его киммерийские пейзажи, висевшие в башне, казалось, что вся живопись Волошина проникнута

поэзией. Но в своей поэзии он был живописцем, писал широкими, яркими мазками, был в словоизречении чрезвычайно красочен и колоритен. Смешение поэтического и живописного дарования дошло у Волошина до того, что одна тема часто служила у него и для картины, и для стиха. Киммерийские пейзажи он переносил на полотно, о киммерийских же сумерках писал удивительные стихи.

В последние годы своей жизни он редко выезжал из Коктебеля, только раз, кажется, побывал в Петербурге и в Москве. Времена переменились: теперь внешность его уже сравнивали не с Зевсом, а с Карлом Марксом. Родион Березов в своих воспоминаниях о Коктебеле рассказал забавный эпизод, произошедший с Максом на московской улице. «Поблизости стояла группа красноармейцев. Увидев человека с седеющей шевелюрой и с большой бородой, чем то похожего на Карла Маркса, удивленные красноармейцы стали толкать друг друга:

— Ребята, глядите, Карл Маркс!

В этот момент они забыли обо всем, что успели усвоить на политзанятиях: и то, что Маркс давным давно умер, и что жил он не в России и по русски не умел говорить. Преисполненные трепета и уважения, они подошли к поэту, отдали ему честь и отрапортовали:

— Товарищ Карл Маркс! Да здравствует марксизм, который мы изучаем на уроках политграмоты!

Поэт не стал их разочаровывать и с улыбкой поощрил:

— Учите, учите, ребятки!»

Эпизод этот позже, с разрешения Волошина, использовал в своей пьесе «Любовь Яровая» драматург Тренев.

Волошина пощадили, простили даже его «Матроса», — заступился Луначарский, приятель по парижским временам. Но изолировали, не печатали, окружили стеной молчания.

Мои уста замкнуты. Пусть:
Почетней быть твердым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.

В тетрадки его стихи переписывали бесчисленные гости, приезжавшие к Волошину в летние месяцы в Коктебель. Чтобы избавиться от преследований и от непосильных налогов, дачу свою он отдал Союзу Писателей и превратил ее в некое подобие Дома Отдыха. В башне и в соседнем старом доме постоянно летом жило множество гостей, а в сезон через дом Волошина проходили сотни людей. Как они там размещались, откуда добывали продовольствие? По словам гостивших в эти годы у Максимилиана Александровича, двери его «общежития» были широко раскрыты для всех и каким-то чудом для каждого находилась тарелка супа, кусок тарани, ломоть арбуза... Пра к этому времени уже умерла. Жена Макса, Мария Степановна, — та самая сестра милосердия — целый день хлопотала, кого-то устраивала, за кем-то ходила. В ценных воспоминаниях Л. Дадиной о Волошине* есть одно место, очень характерное для этой последней эпохи в жизни поэта:

«Макс умел найти доступ к человеческому сердцу даже тогда, когда это казалось нам совершенно невозможным. Помню, как однажды в мастерскую к нему ввалилась компания комсомольцев, человек двадцать. Веселая, здоровая молодежь. Кто им рассказал о Волошине, и что им рассказали? Но какой-то интерес привел их сюда. Просили Макса что-нибудь прочитать. Он прочитал совершенно неподходящее для такой аудитории, как нам казалось, легкое, прелестное стихотворение о Коктебеле. Воцарилось неловкое молчание. Наконец, один из комсомольцев небрежно сказал:

— Довольно художественно.

(Фраза эта потом была очень ходкой в Коктебеле).

Макс стал им что-то показывать, но я не осталась и ушла. Пришло время ужина, а Макса все не было. Меня послали за ним. Я застала его в оживленной беседе с комсомольцами. Когда Макс при прощании протянул одному комсомольцу руку, тот нагнулся и поцеловал ее».

* «Новый Журнал» № 39.

**

Приходя в Феодосию, Волошин часто заглядывал в наш дом, — отец был корреспондентом «Южных Ведомостей» и «Крымского Вестника» и у нас бывали писатели. Помню, заходил иногда С. Я. Елпатьевский. И однажды, — это было в 1920 году, Волошин привел с собой очень щуплого и на вид несчастного человека.

— Поэт Осип Мандельштам, — сказал Волошин. — Его ограбили по дороге, у него нет ни денег, ни вещей. Ему нужен ночлег.

Мандельштам остался у нас ночевать. Был он бездомным, беспомощным и постоянно искал себе пристанища. «С наступлением ночи, вспоминал Мандельштам позже о своей жизни в Феодосии, я стучался в разные двери в поисках ночлега». Иногда убежище ему давал начальник местного порта А. А. Новицкий, человек крошечного роста, с черной бородкой, разгуливавший по городу в белоснежном кителе с кортиком. Он умер несколько лет назад в Холливуде, где стал кино-артистом. «Я думаю, никогда не бывало более странной ночной гостиницы. На электрический звонок открывал заспанный, тайно враждебный, парусиновый служитель. Сахарно-белые, сильные лампочки, вспыхнув, освещали огромные карты Крыма, таблицы морских глубин и течений, диаграммы и хронометрические часы. Бережно снимал я бронзовую чернильницу с крытого зеленым сукном стола морских заседаний. Здесь было тепло и чисто, как в хирургической палате. Все английские и итальянские пароходы, когда-либо будившие Александра Александровича, зарегистрированные в толстых журналах, библиями спали на полках».

Часто ночевал он у меня в комнате, на диване, при чем почему то настаивал на том, что ему будет хорошо даже на полу, — это было, конечно, унижение паче гордости... Осип Эмильевич был в эти годы уже большим, общепризнанным поэтом, и бездомность свою он переживал мучительно. Производил он впечатление челове-

ка страшно слабого, худенького, а на голове, вместо волос, рос рыжеватый цыплячий пух. Читал свои стихи охотно, в особенности перед тем, как лечь спать. Тоненьким, срывающимся от волнения фальцетом декламировал-напевал:

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал...

Вместе с Мандельштамом приехал в Феодосию с Кавказа Н. Н. Евреинов, который тоже в дороге растерял свой багаж и во всем нуждался. Местный литературно-артистический кружок устроил в их честь вечер. Евреинов расшаркивался, прижимал руки к сердцу и рассказывал музыкальные анекдоты, — один анекдот о слоненке, который расплакался, потому что играл на рожке, на костях своей мамы, был очень смешной. Потом выступил Мандельштам. Вышел, заложив руку за борт пиджака, горделиво откинулся назад птичью голову и начал читать нараспев:

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.

До сих пор со стыдом вспоминаю, как вела себя в этот вечер наша провинциальная публика. Сначала на лицах появились улыбки, потом послышались смешки, — люди смеялись над тем, чего не могли понять. И когда в следующем стихотворении Мандельштам продекламировал строфу:

Человек умирает, песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

в зале раздался уже откровенный и грубый смех. Публика, повидимому, решила, что это — столичный «футурист», — где же кофта и раскрашенное лицо?! Мандельштам вдруг остановился, вскипел, топнул ногой, и смех только усилился... «Варвары!» воскликнул он сходя с эстрады. Потом Максимилиан Волошин, мягко улыбаясь, утешал его и говорил, что чернь не понимает поэта. Мандельштам слушал, маленькая его верхняя губа была натянута, как у детей, и он казался в эти минуты особенно щуплым и несчастным.

**
*

Как то вечером мы долго не могли заснуть. Мандельштам ворочался на диване, вздыхал, и я, в конце концов, спросил:

— Что, Осип Эмильевич, не спится?

— Не спится, — ответил Мандельштам.

И потом, мечтательно и нараспев, как стихи:

— А нет ли у вас, дорогой мой, каратика?

Я не сразу понял, немного опешил и переспросил: какого каратика?

— Каратика бриллиантов. Мы бы спекульнули!

Это была, конечно, шутка, — вздох Мандельштама по адресу людей, которым жилось легко и беззаботно, и к числу которых он никак не принадлежал...

Все тогда спекулировали, что то продавали, но я постыдился сказать, что единственный вид спекуляции, которым я занимался, чтобы добить карманные деньги, был не очень высокого качества: я срывал на чердаке хорошие дубовые доски настила и продавал их гробовщику. На доски был тогда большой спрос, в городе свирепствовал сыпной тиф... Весной все это кончилось ужасающим скандалом: крыша начала протекать, дом был затоплен и гробовщик лишился своего поставщика.

Мы подружились и часто гуляли вместе на Широком Молу или уходили на волнорез. Многое из наших тогдашних разговоров я забыл, но помню, как однажды он начал мне объяснять, что поэт не может быть аполитичным, — события всегда найдут отражение в его творчестве. Несколько месяцев спустя он написал:

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем.

Хорошо помню, что тогда, во время наших прогулок, читал мне Мандельштам. О Феодосии, где «девушки ста-реющие в челках, обдумывают странные наряды»; очень он любил медлительность и плавность стихотворения «Сестры — тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы» и без конца мог повторять «Образ твой, мучительный и зыбкий».

Мандельштам знал, что я пишу стихи и как-то вечером заставил меня их прочесть. Было это что-то очень экзотическое, — только две строки и остались у меня теперь в памяти, да и то потому, что покойный Георгий Иванов в Париже часто дразнил меня этими стихами: «И потом с тобой лягу рядом, на душистом ложе твоем»... Мандельштам поворочался на своем ложе-диване и задумчиво сказал:

— Знаете, юный мой друг, ваши стихи нисколько не хуже и не лучше стихов Надсона!

Я по наивности был даже польщен этим отзывом: любил Надсона и считал его большим поэтом. Но потом, поразмыслив, понял, — для Мандельштама Надсон был отрицанием поэзии, воплощением слащавой сентиментальности, и стихи мои этим отзывом он зарезал... После этого разговора я уж никогда стихов не писал. Надеюсь, это доброе дело зачтется ему в царстве теней.

Позже я рассказал Волошину об этом отзыве Мандельштама. Златокудрый Зевс смеялся и уверял, что Осип — человек пристрастный, и что Надсон — это естественный этап. Нужно только учиться, работать и

писать... Но ведь Волошин и сам был такой. Марина Цветаева рассказывает, как однажды, на литературном вечере у Алексея Толстого читал свои стихи «какой-то титулованный гвардеец: луна, лодка, сирень, девушка...». В ответ на это общее место — тяжкое общее молчание. И Макс, вкрадчиво, точно голосом ступал по горячему: — У вас удивительно приятный баритон. Вы — поете?». «Никак нет». «Вам надо петь, вам непременно надо петь». Клянусь, что ни малейшей иронии в этих словах не было: баритону, действительно, надо петь».

**

Иногда мы вдвоем с Мандельштамом отправлялись в Коктебель. У Волошина этим летом жили молодой поэт Георгий Шенгелли, Аллегро-Соловьева, братья Кедровы. Всякий день на вышке башни собиралось много народа, — читать стихи, спорить о поэзии и петь. Большой частью происходили эти сборища по ночам — удивительные были ночи в Коктебеле! Море лежало неподвижно и фосфорилось, а сине-бархатное, темное небо было усеяно крупными алмазами. Позже над Карадагом поднималась луна, освещала «профиль Макса», — так все коктебельцы называли скалу, спускавшуюся к морю. Какое-то сходство, действительно, было. Волошин читал свои стихи о революции и объяснял связь между Октябрьем и русским историческим прошлым, со Стенькой Рязиным, который «опять придет через триста лет». Мандельштам петушился и утверждал, что в его стихах тоже есть большая связь с современностью. Особенной связи мы тогда не видели, но совсем недавно в «Воздушных Путях» я прочел стихи последних лет Мандельштама и увидел, что свою связь с современностью поэт все-таки доказал:

Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,

Как я ступать и говорить умею.
Попробуйте меня от века оторвать,
Ручаюсь вам — себе свернете шею.

Шли времена, когда всем рекомендовалось быть «созвучными». Мандельштам был «современник», но «созвучным» он никогда не стал и жестоко за это поплатился:

Душно, и все таки до смерти хочется жить.
С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираюсь вокруг, —
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.

Все это пришло потом, позже, «в черном бархате советской ночи». В те же времена, когда я его знал, Мандельштам писал, за редкими исключениями, на очень отвлеченные темы и находился под влиянием символистов. Был он большим мастером слова, скрупультно взвешивал каждую строфиу, долго и мучительно вынашивал в себе стихи, беспощадно относился к своей и к чужой поэзии. Это сближало его с Ходасевичем, — только сходство кончалось шлифовкой стиха, совершенством формы, суровым отношением к своему мастерству. Люди же они были совсем разные, — по темпераменту и по душевному складу.

Теперь, когда я вспоминаю Мандельштама, в памяти неизменно возникает башня Волошина, светлая крымская ночь и взволнованный голос поэта, читающего стихи:

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди туман густой клубится,
И пустая клетка — позади...

И он показывал при этом на свою цыплячью грудь, — пустую клетку, и в глазах его стояли слезы умиления. Бедный Мандельштам! Его, как и Волошина, затравили, не печатали, загнали в ссылку и никто в точности не

знает, где и при каких обстоятельствах он умер... Остыл согретый песок и вчерашнее солнце унесли на черных носилках.

А Волошина в последний раз я встретил на Итальянской улице. Он был растерян, в городе хозяйничали большевики и по ночам расстреливали.

— Мне советуют уехать в Коктебель, — сказал он.

— В такое время, как сейчас, страшно жить одному, в башне. Холодно и одиноко. У меня, правда, остались книги... Пока еще остались!

Это все, что запомнил я из нашего прощального разговора. И еще помню: у него в руках была крючковатая палка крымских пастухов, некое подобие библейского посоха. Он ушел, опираясь на свой посох, и на этот раз лицо его было суровое, без улыбки.

М. А. АЛДАНОВ

ВМОЛОДОСТИ он был внешне элегантен, от него веяло каким-то подлинным благородством и аристократизмом. В Париже, в начале тридцатых годов, М. А. Алданов был такой: выше среднего роста, правильные, приятные черты лица, черные волосы с пробором набок, «европейские», коротко подстриженные щеточкой усы. Внимательные, немного грустные глаза прямо, как то даже упорно глядели на собеседника... С годами внешнее изящество стало исчезать. Волосы побелели и как-то спутались, появились полнота, одышка, мелкие недомогания. Но внутренний, духовный аристократизм Алданова остался, ум работал строго, с беспощадной логикой, и при всей мягкости и деликатности его характера — бескомпромиссно. Алданов больше всего на свете боялся кого-нибудь обидеть или задеть, но когда речь шла о принципах — всегда занимал твердую и совершенно определенную позицию.

Чем ближе человек, чем лучше его знаешь, тем труднее о нем писать. Именно это затруднение испытал я, решив написать об Алданове. Знакомство наше и дружба охватывают длительный, тридцатилетний период. Были годы, когда мы встречались в редакции ежедневно, работали в одной и той же комнате, за двумя соседними столами. Последние 10-12 лет, которые Марк Александрович провел во Франции, между нами шла регулярная переписка. И, в конце концов, когда наступило время спросить себя, — какой же это был человек? — оказалось, что最难 of all to write about him was the difficulty of capturing his character, which was both gentle and uncompromising. He was always more than willing to offend or hurt others, but when it came to principles, he always took a firm and clearly defined position.

У него была своя высокая мораль и своя собствен-

ная религия, — слово это как-то не подходит к абсолютному агностику, каким был Алданов. Очень трудно объяснить во что именно он верил. Был он далек от всякой мистики, религию в общепринятом смысле отрицал. Не верил, фактически, ни во что: ни в человеческий разум, ни в прогресс, и меньше всего склонен был верить в мудрость государственных людей, о которых, за редкими исключениями, был невысокого мнения. Химик по образованию и автор нескольких научных трудов, он и к науке подходил с большой осторожностью, — слишком хорошо знал историю цивилизации.

В основе человеческой и писательской морали Алданова лежали некоторые непреложные истины. Он очень хорошо отличал белое от черного, добро от зла; из всех сводов законов уважал, вероятно, только Десять Заповедей.

В характере Алданова более всего чувствовался пессимизм, который с годами усиливался и придавал его жизни какой-то особенно безнадежный и грустный характер. Работая, например, над романом, он всегда был убежден, что издателя не найдет, а если книга, все-таки будет выпущена — никто ее не станет покупать. И когда издатель, конечно, находился, писал друзьям:

«Осеню у Скрибнера выйдут «Истоки» — в материальном отношении это, разумеется, будет провал: кого в Америке могут интересовать народовольцы, Александр II и даже западно-европейские знаменитости семидесятых годов! Боюсь, что после того, как Скрибнер впервые доложит на мне деньги, нельзя будет и предлагать ему другие мои книги».

Или о своем романе «Живи как хочешь»:

«Мысли романа пополняются и разъясняются пьесами (и легендой), и все это вместе, боюсь, скучновато. Уж наверно будет встречено враждебно критикой, а может быть и насмешливо. Бунин мне не раз говорил, как для него «нестерпимо каждые два года держать экзамен у критиков». Я не так этого боюсь, но заранее пред-

вкушаю эту сотню рецензий, которые мне пришлет бюро вырезок и из которых две трети будут пренебрежительны».

Замечательно, что пессимисты удавались Алданову лучше всего.

Чем-то Марк Александрович напоминал мне чеховского героя, который, что бы не случилось, тяжело вздыхал и говорил:

— Ох, не к добру это, не к добру!

Чуть ли не с молодых лет Алданов уже любил говорить о старости, о воображаемых болезнях, о неизбежной нищете и неизменно заканчивал вздохом:

— Помните, что для каждого из нас уже заготовлена койка в Армии Спасения!

По правде говоря, жил Алданов в такую эпоху, когда для пессимизма имелось сколько угодно оснований... «В вашей статье, писал он мне в ноябре 56 года, Вы по моему преувеличили мой пессимизм. В молодости, до революции, я был даже слишком жизнерадостным человеком. Ну, а в последние десятилетия жизнь, особенно политические события, не часто давали нам основания для радости. Кто прав — пессимисты или оптимисты — покажет будущее и даже не столь близкое. Но уж во всяком случае я о себе сказал чистую правду: «Политика внушает мне все большее отвращение».

Несмотря на это «отвращение» политикой интересовался он необычайно, всегда читал несколько газет в день, но, действительно, от какой бы то ни было активной политической работы упорно уклонялся. Формально числился он в партии народных социалистов, ничего общего с социализмом не имея; вероятно избрал эту партию потому, что из всех левых группировок она была наименее заметной и менее активной. Это постоянно давало повод к шуткам. Помню, как однажды Марк Александрович поспорил в редакции с М. В. Вишняком, который в пылу полемики довольно язвительно отзывался о народных социалистах. Алданов спокойно, но не менее ядовито ответил:

— Мы — что! Мы партия маленькая... А вот вас, эсеров, в Париже — двенадцать человек!

Может быть, отталкивание Алданова от политики происходило потому, что он подходил к ней с точки зрения историка, хорошо зная неприглядную сторону многих исторических событий; «Философию случая» в истории Алданов очень обстоятельно продумывал и, в частности, был глубоко убежден, что исторический переворот Девятого Термидора произвели четыре мерзавца, спасавшие свою жизнь и свои выгоды и не имевшие вообще никакой идеи.

В моих бумагах сохранилась запись, сделанная в 28-м или в 30-м году. Мы сидели в кафе «Режанс» на площади Палэ Рояль и я рассказывал Марку Александровичу, как незадолго до этого был у историка французской революции Олара. «Девятое Термидора» Алданова к тому времени уже вышло по-французски, Олар прочел роман и сердито сказал, что это памфлет на Великую Революцию, и что понять ее может только тот, кто ее любит... Отзыв этот Алданова задел, — Олара за его великую ученость и труды он почитал.

— Разумеется, сказал мне Марк Александрович, памфлетные цели были от меня далеки. Олар говорит, что понять Французскую Революцию может только тот, кто ее любит. Если это верно, в чем я сильно сомневаюсь, то я действительно не могу претендовать на понимание Французской Революции, так как большой любви к ней не чувствую: я имею, конечно, в виду жизненную правду революции, ее быт, а не идеи Декларации Прав Человека и Гражданина. Быт же Французской Революции не так сильно отличается от быта революции русской, которую я в 17-18 гг. видел в Петербурге вблизи; в этом наше преимущество перед проф. Оларом... Не так высок был и средний уровень, умственный и моральный, людей 1793 года. Русские исторические деятели, не только самые крупные, как Суворов, Пален или Безбородко, но и многие другие, стояли, по-моему, в этом отношении выше...

**

В Алданове многое поражало. Он был, например, очень застенчивым и, я бы сказал, целомудренным человеком, — любовные эпизоды в его романах редки; автор прибегал к ним только в крайней необходимости и они всегда носили «схематический» характер. Бунин с наслаждением писал «Темные Аллеи». Алданов наготу свою тщательно прикрывал и это не только в писаниях, но и в личной жизни: очень недолюбливал скабрезные разговоры и избегал принимать в них участие.

Было в нем и другое, вызывавшее во мне удивление. На любой странице Алданова можно найти умные, замечательные мысли, — у него была особая способность подобрать нужную и интересную цитату, афоризм, исторический анекдот, и громадной своей эрудицией он пользовался непрестанно. Но все эти необыкновенные запасы из «кладовой писателя» он ревниво берег для своих книг. В разговоре же и в переписке с друзьями Марк Александрович эрудиции избегал, — писал просто, о вещах самых обыкновенных и житейских, любил узнавать новости, сам о них охотно сообщал, расспрашивал о здоровье, — был он очень мнительным и вечно боялся обнаружить у себя какую-нибудь «страшную болезнь». Из-за этого не любил обращаться к врачам, но охотно беседовал с больными, расспрашивал и, видимо, искал у себя «симптомы». Так, совершенно серьезно, в 47 году он писал А. А. Полякову:

«Теперь благополучно вернулся в Ниццу. Впрочем, лишь относительно благополучно: в последние дни парижского житья у меня воспалился и распух левый глаз. Ехал забинтованный, — надеюсь, что соседи в купе принимали меня за героя «Резистанса», которого немцы подвергли пыткам, — но что, если они думали: «трахома или сифилис?» Теперь немножко лучше».

Франклин Д. Рузвельт в свое время призывал дать человечеству «четыре свободы», — в частности освободить людей от страха войны и страха нужды. Алданов от

этих страхов никогда не был свободен. Призрак надвигающейся новой войны пугал его давно, он пережил две войны и каждая из них была для него, помимо общечеловеческой, и личной трагедией. В начале 50 года Алданов писал мне:

«В С. Штатах все, кажется, считают войну неизбежной. Я недавно считал «фифти-фифти», но с каждым днем опасность войны становится все более реальной. Одно дело считать войну почти неизбежной, и совершенно другое дело желать ее. Теперь положение может стать (может, конечно, и не стать) катастрофическим в любой день. Думаю, что тогда делать? Даже с визой в С. Штаты уехать тогда будет невозможно: все пароходы и аэропланы будут реквизированы для американских граждан, а мы с Т. М. апатриды. Тогда надо было бы уехать в Нью Иорк окружным путем, через Испанию, Египет, Палестину или Алжир. Но забавно и печально, что и туда мне транзитной визы не дадут; в Испанию, так как я либерал и анти-франкист, в Египет, так как я европеец и еврей (они всех европейцев теперь люто ненавидят), в Алжир, так как я апатрид, а в Палестину, так как я никогда не был ни сионистом, ни общественным деятелем. В Палестину все же дали бы, — я «сгущаю краски». Впрочем, все же надеюсь, что в 50-51 году войны не будет».

К этому вопросу возвращался он в своих письмах непрестанно. Другая тема, его очень волновавшая, была материальная необеспеченность. Алданов вечно, буквально в каждом письме хлопотавший перед Литературным Фондом о помощи для своих нуждающихся друзей-писателей, сам за свою жизнь ни у кого не получил ни одного доллара, не заработанного им литературным трудом. Правда, книги его перевели на 20 с лишним языков, отрывок из романа или очерк за подписью Алданова был украшением для любого журнала, но платили издатели плохо и заработка с трудом хватало на очень скромную жизнь. Поэтому-то главным образом, и прожил он последние десять лет в Ницце. Там было тихо, меньше

друзей и знакомых и, следовательно, больше времени для работы, но, что было особенно существенно, можно было прожить на скромные заработки... Переводили его на иностранные языки много и охотно, но иногда случались недоразумения. Как-то Алданов явился на наше свидание очень озабоченный: от одного шведского издателя пришло предложение выпустить его роман «Чортов Ключ».

— Как вы думаете, — растерянно спрашивал М. А., — что он имел в виду: «Чортов Мост» или «Ключ»?

«В мои годы, писал он в 47 году из Ниццы, нельзя быть совершенно здоровым во всех отношениях. Во всяком случае, работоспособность не понижается. Так как знакомых здесь чрезвычайно мало, то я работаю, как в Нью-Йорке или в Париже работать не мог. Это одна из многих причин, почему я еще не вернулся. Все же по Нью-Йорку и нью-йоркцам очень скучаю. По парижанам, кроме родных и еще десятка человек, скучаю меньше.

В Париже *особенно* неприятных встреч у меня не было. Была одна случайная встреча с Б. и еще две или три с другими, точно таких же: случайных и продолжавшихся весьма недолго. Дон-Аминадо, чтобы никого не встретить, вообще никуда не ходит, а когда Надежда Михайловна ему говорит: «А сегодня я встретила...», он мрачно ее обрывает: «Ты никого не встретила». Мы с ним за все время встречались два раза. Правда, беседовали оба раза часа по полтора и отводили душу».

«Да, я к январю надеюсь быть в Нью-Йорке, хотя мне там делать нечего... В сущности, мне нужно только раза два поговорить с издателем, выпить с ним по бокалу виски — и выхлопотать себе либо работу в С. Штатах (на что я надежды не имею), либо новую визу в Европу: здесь жизнь много дешевле, по крайней мере в Ницце, а работаю я тут много, так как никто не мешает. С другой стороны, если бы у меня было 4-5 тысяч долларов заработка, то я без колебания вернулся бы в Нью-Йорк совсем: причины объяснять не надо. К сожалению,

за год пребывания в Европе заработал от продажи моих книг полторы тысячи долларов. На это в Америке не проживешь. Не проживешь даже в Ницце. Лучше всего во всех отношениях было бы «фэр ла наветт» между Америкой и Францией. В глубине души я на это именно и надеюсь, так как без Франции и Европы мне все-таки трудно жить, а Америка, которую я люблю, это якорь спасения, да и кроме того почти единственный источник заработка».

За год до этого он писал:

«Прежде всего скажу, что по моему вы прекрасно сделали, найдя для себя дополнительный «джоб». Надеюсь, писать он Вам не помешает, а в самом деле надо иметь более обеспеченный кусок хлеба, чем тот, который дает эмигрантская литература. А вот то, что вы решились вдобавок держать экзамен и выдержали его, это прямо — подвиг, — говорю совершенно серьезно. У меня на это энергии не хватило бы.

Я не возвращаюсь в С. Штаты в ближайшее время именно потому, что не имею никакого дополнительного «джоба», который бы обеспечивал хотя бы часть моего бюджета. Если бы мне предложили такой, то я вернулся бы тотчас без всякого колебания, ибо по тысяче причин в Нью Иорке лучше и бытовая обстановка, и особенно моральная. Но что же мне делать? Я и до последнего вздорожания жизни, при скучном укладе, проживал пятьсот долларов в месяц. Теперь и Вы, и другие, нью иоркцы, и особенно газеты сообщают, что цены в Америке бешено поднялись, что начинается кризис и т. д. А я и раньше не знал, как зарабатывать то, что проживал. «Бук оф зи Монс» бывает у писателя раз в жизни. Вместе с тем в Париже, помимо моральных условий, мне жить невозможно прежде всего потому что квартиру достать нельзя или надо заплатить 300-400 тысяч франков отступного за две-три плохих комнаты! Право, не знаю, что мне делать. Я никогда в жизни в таком странном и неопределенном положении не был».

«...Очень забавно, что вы пишете о Ди-Пи и об юби-

леях. Я получил приглашение участвовать в чествовании Х... Не думал, что это чествование дало ему 2.000 долларов (много больше, чем в свое время Бунину). Вот когда я впаду в детство, Вы, по своей доброте, устроите юбилей Алданова, благо он единственный из писателей-романистов и политических людей, отроду не устраивавших себе юбилеев. Но это только *после* кондрашки. До того как-нибудь проживу».

**
*

Юбилей Алданова все же состоялся до того, как он «впал в детство», но в отличие от многих других чествований ничего кроме славы юбиляру не принес, — ни о каких сборах, конечно, не могло быть и речи. 7 ноября 1956 года М. А. Алданову исполнилось 70 лет. Повидимому кое-какие слухи о предстоящем чествовании до него дошли, потому что он в панике написал письма друзьям в Париж и Нью-Йорк, умоляя отказаться от «публичного чествования» и от устройства вечеров. Но то, что газеты посвятили ему множество статей было, повидимому, Алданову приятно. Вдруг наглядно обнаружилось всеобщее признание его писательского таланта и его человеческих качеств. Нечего греха таить, — к двум или трем представителям «пишущей братии» М. А. Алданов относился сдержанно и был убежден, что они его «не признают». И вдруг оказалось, что и эти люди Алданова полностью признали, статьи их носили в высшей степени хвалебный характер и Марк Александрович долго не мог прийти в себя от приятного удивления. С обычной своей вежливостью и добросовестностью он потом добрый месяц сидел и выступал на машинке благодарственные письма, благодарили каждого в отдельности, а статей и поздравительных писем получил он тогда великое множество.

Жизнь Алданова была заполнена непрерывным и тщательным трудом, — я не знаю другого русского писателя в эмиграции, который так трудился бы над своими книгами, столько прочел и так был осведомлен в самых разнообразных областях, как Алданов. Оставил он

после себя два десятка томов, в которых писатель сочетает в себе качества философа, историка и художника. Романы Алданова, по существу, это громадная галерея исторических портретов: Робеспьер и Наполеон, Сперанский и Суворов, Микельанджело и Бетховен, Достоевский и Желябов, Ленин и Троцкий, — множество досконально изученных исторических персонажей. И рядом — люди повседневные, мрачно философствующие, умные старики, пошловатые Кременецкие, журналисты типа Дон Педро, женщины фатальные и прелестные в своей холодноватой пустоте. Какой громадный, удивительный писательский диапазон!

Алданов был прежде всего мастером исторического портрета, — русская литература не знала до него подобного историка-эссеиста. Некоторыми историческими персонажами Алданов явно восхищался; можно не сомневаться, с какими чувствами писал он о Сталине, Урицком или Ленине.*.) Кое-кого из знаменитых современников встречал или видел, — у него была жилка настоящего журналиста-репортера, но особенной близости с ними не искал, в особенности если принадлежали они к категории «злодеев». Мог писать о них и на основании одних документов и свидетельских показаний, как это делал близкий ему по духу французский писатель и историк Ленотр. Личный контакт для этого с Лениным или Троцким ему не был нужен.

В связи с этой особенностью характера Алданова

*.) Во время печатания его романа «Самоубийство» в «Новом Русском Слове», я, между прочим, писал Алданову, что некоторые Ди-Пи находят его изображение Ленина слишком человечным. Алданов поторопился ответить: «Неужели Ди-Пи серьезно усмотрели симпатию к Ленину в моем романе?! Мне незачем Вам говорить, что я его ненавижу, как ненавидел всю жизнь, — нисколько не меньше. Того же, что он был выдающийся человек, никогда не отрицал. И, разумеется, не я один, — говорю только о крайних антибольшевиках, таких же, как мы с Вами. И из всех персонажей «Самоубийства» он изображен наиболее отрицательно» (Письмо от 14 января 57 г.).

мне вспоминается один эпизод из его жизни, произшедший в тридцатых годах в Париже.

Хоронили старого революционера О. С. Минора. Ка-тафалк с гробом свернулся на широкую аллею кладбища и провожавшие растянулись, шли вразбивку, кто по мостовой, кто по тротуару. И, как всегда бывает в таких случаях, говорили больше о вещах посторонних. Мы с Марком Александровичем прибавили ходу и обогнали какого-то низкорослого человека. Он шел один, немного в стороне, сутуясь. Находу промелькнуло скуластое лицо со вздернутым носом и большим, широким шрамом на правой щеке. Лицо показалось мне знакомым. Собственно, узнал я этого человека по шраму.

Это был «батько» Махно. Познакомил меня с ним О. С. Минор, — чистейший человек, считавший, что «батько» был идеальным анархистом. Минор, не терпевший несправедливости в какой бы то ни было форме, пытался одно время Махно реабилитировать.

Мое знакомство с Махно, собственно говоря, и состоялось в целях реабилитации. Батько оказался человеком приветливым и разговорчивым. Своих пышных усов времен Гуляй-Поля он уже не носил, лицо было бритое, простоватое, — скажем, лицо сельского учителя с Украины, которому очень пошла бы вышитая рубашка. Только глаза поразили меня своим умом и необычайной жизнью. Он был уже в это время болен туберкулезом, говорил глуховатым, сиплым голосом, и часто покашливал.

Мы встретились два или три раза. Он хотел писать свои мемуары и просил меня о помощи, — Махно страдал от мысли, что войдет в историю гражданской войны с репутацией бандита. Он начал мне объяснять, как вел среди своей вольницы борьбу с погромами, что в штабе его были настоящие идеальные анархисты. Вся беда заключалась в том, что бандиты упорно называли себя махновцами.. Помню, особенно поразил меня рассказ о том, как однажды, на митинге, в присутствии тысячной толпы, он своими руками застрелил одного из соратников, кото-

рый признался, что бросал евреев в топку локомотива, — способ этот, очевидно, существовал и до Гитлера... Почему-то я решил, что широкий шрам на щеке — след удара шашкой, но Махно сказал, что нет, это была немецкая пуля, разорвавшая рикошетом лицо в «империалистическую» войну. Он любил такие слова, считал себя идейным пролетарием и я получил от него несколько писем, неизменно начинавшихся со странного в эмигрантском Париже обращения:

— Гражданин Седых!

Из сотрудничества по линии мемуаров ничего не вышло, так как Махно, видимо, почувствовал, что до конца в его идейность я не верю. И вот теперь, после долгого перерыва, я встретил его на похоронах О. С. Минара. Решив поразить Алданова, я спросил его, словно речь шла о самом обыкновенном человеке:

— Это «батько» Махно. Хотите, я вас познакомлю?

Марк Александрович как-то растерялся. Для писателя, да еще для автора «Портретов», знакомство было соблазнительным. Но что-то смущало Алданова:

— Видите ли, — не без колебания сказал он, — при знакомстве надо подать руку. А мне, все-таки, этого не хотелось бы делать.

Я рассказал Алданову, как однажды П. Н. Милюков при мне, в редакции «Последних Новостей», подал руку матерому чекисту Агабекову. Когда я потом спросил Милюкова, как он мог это сделать, Павел Николаевич, вообще не очень склонный к юмору, ответил:

— Если бы вы знали, каким только мерзавцам мне приходилось в жизни подавать руку!

Ссылка на Милюкова вполне убедила Алданова, — прецедент был явно установлен. Я подвел его к «батьке» и представил. В последний момент Марк Александрович сделал какой-то неопределенный жест, поднес руку к шее, словно прося прощения за то, что простужен и пожать руку не может. Мы пошли вместе до конца аллеи. Алданов мысленно «фотографировал» и знакомством

остался очень доволен... Больше Махно я уже никогда не встречал. Знаю, что он малярствовал и вскоре умер от туберкулеза под Парижем, в большой нужде.

**

Есть такое советское выражение: «лаборатория писателя».

Так вот, много лет проработав с Алдановым в одной редакции, я никогда в «лабораторию» его не проник. Та работа, которую в течение нескольких лет он выполнял в «Последних Новостях», была работой чисто журналистической и, собственно, к писательству никакого отношения не имела. Беллетристики или очерков своих он на-людях никогда, конечно, не писал, а приносил в редакцию уже готовую рукопись, написанную на машинке, на листах большого формата. Судя по многочисленным поправкам, сделанным мелким, бисерным почерком, процесс писания был кропотливым и рукопись подвергалась тщательной обработке. Марк Александрович и не скрывал этого, — он всегда с удивлением наблюдал, как некоторые сотрудники газеты писали свои статьи в редакции, прямо набело и тут же отдавали их в набор. Алдановские рукописи переписывались и подвергались новым исправлениям, иногда уже в набранном виде. Да это и не могло быть иначе, — самый придирчивый критик никогда не находил в его романах сколько-нибудь серьезных погрешностей против фактов или языка. Алданов не писал наспех и каждую фразу тщательно отдельывал, — твердо помнил совет Чехова о том, что искусство писания заключается в искусстве вычеркивания.

В те годы, когда он жил в Ницце, а отрывки из своих романов или очерков печатал в «Новом Русском Слове», он постоянно, вдогонку за рукописью, писал М. Е. Вейнбауму или А. А. Полякову просьбы о дополнительных поправках, иногда казавшихся со стороны незначительными, — для Алданова незначительных поправок не было.

Только И. А. Бунин еще ревнивее относился к своим рукописям, требуя строжайшей корректуры и точного соблюдения авторского синтаксиса.

Вот характерная для Алданова выписка из его общего письма к А. А. Полякову и ко мне от 12 сентября 1956 года:

«Очевидно, корректуры получить нельзя? Разумеется, если бы вы мне послали набор (рукописи не нужно было бы), я вернул бы его через день воздушной почтой. Ну, что ж делать? Нельзя — так нельзя. Прошу Вас умилить корректора читать корректуру внимательно. Я сам бы написал ему, но не знаю, кто теперь корректор? Очень, очень прошу. Из всех неприятных ошибок самые неприятные, это если делается абзац там, где не нужно, или не делается там, где нужно. На всякий случай (Вы верно улыбнетесь) напоминаю, что значок *Z* у меня означает: с новой строки. Но я его поставил только там, где у наборщика могут быть сомнения. В громадном же большинстве случаев это совершенно ясно из вида рукописи, — так же ясно, как ясны абзацы в этом письме.»

Не всегда это помогало: опечатки все же случались. И Алданов в отчаянии писал А. А. Полякову:

«Корректура очень хорошая, но есть несколько ошибок, из них две или три неприятные. Вопреки своему обыкновению, хочу просить Вас напечатать нижеследующее исправление: на эти ошибки могут обратить внимание письменно Ваши читатели, а может ухватиться и какая-нибудь другая газета: г. Алданов, мол, не знает, что епископ называется «Ваше Преосвященство», а никак не «Ваше Превосходительство» или г. Алданов не знает, что Стендаль уже умер в 1847 году. Может быть, даже уже кто-либо Вам написал или сказал? А у меня, не скрою, нервы в очень плохом состоянии. Казалось бы, при нынешних событиях можно было хоть на пустяки махнуть рукой, — не могу и этого. В С Е расстраивает. Вместе с физическим здоровьем расстраивается видно у людей и душевное...»

**

Кто это сказал: «Книга готова. Остается только ее написать»? Как ни парадоксально звучит эта фраза, ее очень легко применить к Алданову, хотя самий процесс писания давался ему не легко. Перед тем, как начать исторический роман, Алданов обычно проделывал громадную и очень добросовестную работу по подбору нужных материалов и документов. Я помню его в период работы над «Девятым Термидором» и «Чортовым Мостом». Ежедневно Марка Александровича можно было видеть в парижской Национальной Библиотеке, где он проводил послеполуденные часы за чтением старинных и редких книг. Время от времени мелким бисерным почерком он делал заметки на плотных листах белой бумаги. Затем снова принимался за чтение. После «Ульмской Ночи», в ответ на очень лестный отзыв о книге, он написал:

«Признаю за собой тут только заслугу большой работы, — я работал над этой книгой, над изучением литературы, несколько лет. Да и теперь не думаю, чтобы книга могла иметь успех, — разве когда-нибудь уже после моей смерти».

Алданов все прочел и все запомнил. Не знаю, впрочем, так ли уж феноменально была развита у него память, но основательная записная книжка такому писателю нужна. Толстой клал на ночь под подушку тетрадь и карандаш, — вдруг проснется среди ночи, придет мысль в голову, которую нужно сразу записать, а потом, к утру, забудется... Как же поступал Алданов? В одной только (десятой) главе романа «Живи как хочешь» Дюмлер в разговоре с Яценко цитирует Сократа, Вальтер Скотта, учеников Сократа, Экклезиаста, Бергсона, Наполеона, Луизу Мишель, генерала Скобелева, Линкольна, Мамонтова, Вирджинию Вульф, герцогиню д'Юзес и Данте. Без записной книжки тут не обойтись и самое замечательное это то, что книжки этой никто не видел: в лабораторию писателя посторонние лица не допускались. После смер-

ти М. А., согласно его желанию, записные книжки были уничтожены.

В жизни Марк Александрович был человеком необыкновенно простым, любознательным, приветливым и отзывчивым. Все смешное и уродливое в людях подмечал мгновенно, но никогда этого не показывал. Говорил он тихо, без цитат и заранее подготовленных эффектных фраз. Спорить не любил, всегда готов был замолчать и дать высказаться другому. Для русских писателей, обычно любящих говорить и не умеющих слушать, это качество огромное, а мне всегда казалось, что слушал он других охотнее, чем говорил. И в этом, между прочим, сказывался «европеизм» Алданова.

Был вежлив, в меру радовался и в меру огорчался за своих друзей, — но тоже не слишком; некоторых любил по-настоящему. До конца ни с кем не сближался, — я не знаю человека, с которым Марк Александрович был на «ты»... По-настоящему из писательской среды любил только Бунина, который сыграл большую роль даже в литературных вкусах и взглядах Алданова. Оба превыше всех ставили Толстого и Чехова; оба не любили Достоевского, не признавали символистов. Бунин ставил Кольцова неизмеримо выше Есенина и Блока, которых вообще ненавидел; Алданов поэзию не любил, — о Блоке и его «Двенадцати» отзывался он даже без своей обычной сдержанности. Л. Сабанеев, сблизившийся с Алдановым в последний, ниццкий период его жизни, очень правильно определил Марка Александровича, как «литературного старообрядца».

Европеизм Алданова сказывался решительно во всем: держал слово, не опаздывал на свидания, любил порядок, аккуратно отвечал на все письма, неизменно благодарили за поздравления и за любезные отзывы о книгах. Больше всего он опасался «экзотики» и в писательстве, и в своей личной жизни. С именем Алданова нельзя связать никаких бурных переживаний. Он никогда не умирал с голоду, не пил запоем, не проигрывал в карты, не закладывал в ломбарде юбок жены, Татьяны Марковны,

верной своей сотрудницы и превосходной переводчицы... По правде говоря, с точки зрения писательской биографии есть в этом некое упущение:

Темен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.

Ничего этого, к счастью, в жизни Алданова не произошло. Достаточно было и «нормальных» катастроф, выпавших на долю нашего поколения. Все же мне временами казалось, что в молодые годы он пытался придать своей, уже прочно установившейся джентльменской репутации, некую богемистскую окраску, без особенного, впрочем, успеха. Был, например, период, когда Алданов любил сидеть в кафэ перед рюмкой аперитива и, вероятно в душе жалел, что во Франции к этому времени запретили абсент. Абсент был бы, конечно, более богемистым напитком, чем порто со льдом. Одно лето, это было в 33 или 34 году, прожили мы вместе на курорте Виши, где болезни печени лечат строгим режимом и питьем минеральной воды в микроскопических дозах. Алданов выпивал со страдальческим видом два положенных ему глотка тепловатой и довольно противной на вкус воды и говорил:

— Ну, а теперь нужно пойти поскорее запить это аперитивом!

Потом и это прошло, с годами в нашей компании литераторов многие начали переходить на режим, и тут было уже не до аперитивов: все, или почти все положенное было уже, выражаясь языком кавалеристов, давно выпито. Осталась только привычка ходить в кафэ, — Марк Александрович всерьез уверял, что в кафэ он ходит не меньше трех раз в день и всегда «пьет». Не знаю, мне казалось, что заказывал он больше кофе, но, случалось выпивал рюмку или две вина и довольно быстро хмелел, но тоже как-то особенно «вежливо», без преуве-

личений, — пил он только для хорошего настроения и тогда становился более оживленным и более разговорчивым.

К концу вишийского сезона я познакомил Алданова с труппой русских лилипутов, игравших в местном театре, — они рассказывали разные случаи из своей бродячей жизни и почему-то особенно запомнился рассказ одного из них о том, как в него влюбилась великанша. Это Алданова интересовало. Позже он встретил у меня в доме, уже в Нью-Йорке, жонглера Труцци, отпрыска династии великих цирковых артистов и стал бывать у него за кулисами в Мэдисон Сквер Гарден, даже поехал на несколько дней во Флориду, где цирк зимовал. Из Флориды вернулся он в Нью-Йорк довольный, почти счастливый и вдруг прочел в газете, что сотни артистов цирка, которые ели в том же ресторане, куда ходил и он, отправились пищей. Страшно встревожился и спрашивал:

— А что, если бы это случилось со мной?

В это время он собирал материалы для «Истоков». Из знакомства с цирковыми людьми родилась Кателина Диабелли, Карло и клоун Альфредо, он же Алексей Иванович Рыжиков.

Но вернемся к лилипутам... Днем мы обычно отправлялись ловить рыбу на реке Аллье, а потом на берегу устраивали привал, раскладывали костер, варили уху или жарили шашлык. Алданов как-то попросил взять его с собой. Мы зашли в магазин, приобрели для него удочку и все рыболовное снаряжение. Марк Александрович заплатил за удочку сотню франков и тихонько вздохнул — для писательского его кармана это были деньги не малые.

Сели в лодку, выгребли на середину реки. На лодке катались мы часто, — Марк Александрович любил грести, — кажется это был единственный вид спорта, который он признавал; даже простую прогулку считал занятием довольно бессмысленным и ходить не любил... Выгребли мы на середину реки, бросили якорь и начали готовить удочки. Тут выяснилось, что Алданов не хочет нанизы-

вать руками червяка на крючок: очень противно. Червяк был нанизан одним из его поклонников и Марк Александрович неловким жестом перебросил леску через борт. И тут произошло чудо: в ту же секунду поплавок его исчез под водой и леска заходила в разные стороны. Рыба взяла крючок буквально находу.

— Тащите! — закричали мы хором.

Марк Александрович с торжеством вытащил свою добычу. По правде говоря, была это крошечная рыбешка, но лиха беда начало. Начало оказалось и концом. Сколько в этот день он ни забрасывал удочку, ни одна рыба больше не клюнула.

На этом закончилась рыболовная карьера Алданова. Возвращаясь домой и печально глядя на единственную пойманную им сардинку, он сказал, что это — самая дорогая рыба, которую он когда-либо видел в своей жизни.

**
*

Алданов по существу был подлинным писателем-подвижником. Он тридцать лет работал над серией исторических романов, которые связывали эпоху Французской Революции с нашими днями, довел свой гигантский труд до конца, и делал это без меценатов, без прочной материальной базы, — страх за будущее, за завтрашний день никогда его не оставлял.

Из приведенных выше писем Алданова видно, как иногда он мечтал найти побочную работу, которая отнимала бы у него только часть дня с тем, чтобы остальное время он мог посвятить писанию. Но когда такую работу ему предлагали, всегда отказывался: очень боялся каких-либо служебных обязательств и установленных часов. Так отказался он и от поста директора Чеховского Издательства. Служба эта могла обеспечить ему безбедное существование на несколько лет, но Алданов представил себе, как нужно будет возвращать людям рукописи, отказывать, и предложение отклонил. К тому же, он зато-

ропился, понял, что осталось мало времени, и очень хотел закончить все, что наметил.

Из письма от 9 мая 1950 года:

«...Теперь пишу повесть о смерти. Добавлю, что она историческая: действие происходит сто лет тому назад. Таким образом, если я ее закончу, то моя серия будет охватывать эпоху от воцарения Екатерины II («Пуншевая водка») до 1947 года (мой последний, еще ни на одном языке не вышедший современный роман); до сих пор в этой серии романов и философских повестей у меня был пробел: сороковые годы прошлого века. Разумеется, это сообщение не для печати, а только для Вас, на случай моей безвременной кончины. Тогда вспомните в некрологе».

В 55 году он писал мне:

«Если Чеховское Издательство кончится, я впервые останусь без русского издателя. В отличие от Вашего Гази-Гирея, денег у меня меньше, чем в море кефали, — даже много меньше. Терять деньги на своих книгах я никак не могу... Эмиграция дает погибнуть своему, теперь единственному настоящему издательству. И мы стоим перед «культурной катастрофой», которая, конечно, по масштабу несколько поменьше других нынешних, настоящих катастроф, но все-таки чувствительна — особенно для пишущих людей, как мы с Вами. И я особенно интересуюсь тем, кто какой выход для себя находит».

Предчувствие не обмануло Алданова. Чеховское Издательство прекратило существование, так и не успев выпустить его последний роман «Самоубийство». И книгу эту, как памятник большому русскому писателю, уже после его смерти издал нью-йоркский Литературный Фонд.

В последние годы он как-то одряхлел, ходил с палочкой, сильно располнел и страдал одышкой. Однажды прислал из Ниццы свою фотографию и я ужаснулся: с карточки глядел на меня седой как лунь, необычайно постаревший Алданов. О смерти говорил часто, шутливо, но и не без некоторой нотки внутреннего беспокойства,

— все спрашивал, что я напишу о нем в некрологе? В январе 57 года умер наш общий друг, старый народоволец, писатель и журналист Я. Л. Делевский. Когда-то мы постоянно встречались в читальном зале Национальной Библиотеки и всегда смеялись: зимой и летом, даже в тропическую жару, Делевский приходил в библиотеку в калошах и с зонтиком... Марк Александрович мне написал:

«Кончина Я. Л. Делевского нас чрезвычайно огорчила. Я всегда его почитал и любил: редкий был человек. Да, нас из «Последних Новостей» остается все меньше и меньше. Кто следующий? Последним должны быть Вы. Вероятно, Вы и самый молодой из оставшихся?»

Кто следующий?

Следующий был Алданов. После этого я получил от него только одно письмо, посланное за месяц до смерти, 23 января 57 года. Кончалось оно необычными для Марка Александровича словами:

— Не забывайте.

Алданова не забудут.

С. В. РАХМАНИНОВ

РАХМАНИНОВ не был для меня ни близким, ни далеким человеком. Я приходил к нему изредка за интервью для газеты, — Сергей Васильевич относился к журналистам, как к неизбежному злу, с которым, однако, надо мириться. Но был он таким внимательным и чутким человеком, что очень быстро посетитель чувствовал себя в атмосфере дружеской, а интервью незаметно превращалось в оживленное собеседование. Пользуюсь словом «оживленное» в смысле внутреннего содержания беседы, — Рахманинов никогда ни о чем не говорил равнодушно; если затронутая тема его не интересовала или была ему неприятна, он попросту молчал. Что касается внешней формы разговора, назвать ее оживленной нельзя было никак: Сергей Васильевич говорил очень медленно, характерным жестом потирая рукой лоб, тщательно подыскивая нужные ему слова, обдумывая свою мысль, и при этом часто закрывал глаза. Тогда его аскетическое лицо с опущенными веками становилось каким то суровым и сосредоточенным, и глубокие складки на лбу резко вычерчивались. Он почти не жестикулировал. Обе свои длинные руки клал на колени, слегка при этом горбился, — это была та самая поза, которую принимал Рахманинов на концертной эстраде, садясь за рояль.

Слышал я Рахманинова в Париже, в зале Плейель, много раз. Техника и все особенности его игры прекрасно изучены и описаны музыковедами. Для не-музыкантов, приходивших слушать Сергея Васильевича, в игре его был некий элемент колдовства. Он выходил на эстраду медленным, немного утомленным шагом; фрак

сидел на нем удивительно, — Сергей Васильевич всегда одевался у лучшего лондонского портного. Сдержанно раскланивался с публикой, усаживался за инструмент и, на несколько секунд, как бы задумывался. У него были особенные руки: большие, очень красивые, с длинными и в то же время мягкими пальцами, и он как-то особенно решительно клал их на клавиши. Лишних жестов Сергей Васильевич себе не позволял, презирай дешевые эффекты на эстраде, не «переживал» ни лицом, ни жестами. У Рахманинова не было того, что принято называть «мягким тушем». Б. В. Асафьев определял работу пальцев Рахманинова, как осязание у великих скульпторов. Не любил он и полутона. Его пиано имело очень певучий звук, в форте была громадная мощь. Он начинал обычно спокойно, почти суроно, но постепенно звук нарастал, игра становилась динамичной, — слушатели вдруг чувствовали себя во власти необычайного мастера и сидели, как заколдованные.

«Только те, кто слышали Рахманинова, его игру в последние годы, в последний период его жизни, писала С. А. Сатина в своих воспоминаниях, могут понять, что это был за пианист, могут понять, во что разился его пианистический талант».

Таков был Рахманинов на эстраде. А в жизни он был очень вдумчивым, сосредоточенным человеком. Говорил голосом ровным, глухим, без модуляций. Разговор с чужим человеком завязывался с трудом. Временами казалось, что между Сергеем Васильевичем и собеседником стоит глухая стена. Но стоило коснуться темы, которая волновала или интересовала Рахманинова, как невидимая стена рушилась, он оживал, но никогда не впадал в суетливость и не старался переговорить собеседника.

В старых записных книжках у меня сохранились записи некоторых наших разговоров и отдельные эпизоды из его жизни. Многое я слышал от него самого, кое что рассказали близкие люди или я прочел. Ничего система-

тического в этих записях нет, — это случайные заметки о Рахманинове.

**
*

Познакомились мы так. Сергей Васильевич пригласил прийти к нему в одиннадцать часов утра. В этот свой приезд в Париж он остановился в большом отеле, и меня удивило, что швейцар даже не проверил, ждет ли меня Рахманинов, а прямо сказал:

— Третий этаж. Апартамент 375.

За дверью слышалась музыка. Рахманинов занимался. Рука замерла на звонке, — нельзя же прервать его! Я стоял и слушал. Минуты проходили, назначенный час был давно уже пропущен, а я знал, что Сергей Васильевич — очень аккуратный, сам никогда не опаздывает и не любит ждать других, — каждый час у него был расписан. Не знаю сколько бы времени это продолжалось без вмешательства коридорного лакея в полосатом жилете, который с подозрительным видом посмотрел на человека, неподвижно стоящего у чужой двери.

— Что вы здесь делаете, мосье? — спросил коридорный.

В самом деле: что я здесь делаю? Не объяснять же этому симпатичному малому, что в коридоре я нахожусь с самыми чистейшими намерениями и слушаю Рахманинова?

Звонок.

Музыка мгновенно оборвалась. Сергей Васильевич вышел навстречу с протянутой рукой. Улыбался он на людях редко, и этим только усиливал впечатление внешней суровости. Но рукопожатие было крепкое и в глазах — внимание и теплота.

Как то даже не верилось, что этот всегда немного грустный и сосредоточенный человек в кругу семьи и очень близких друзей мог быть веселым, любил шутки и смех, — а ведь именно таким был «другой» Рахманинов, которого публика совсем не знала.

Приближалась какая-то юбилейная дата в жизни

Сергея Васильевича и, как водится, я спросил об учителях, о Чайковском, о чем то очень далеком.

— Это слишком сложно, — ответил он. Об этом можно написать целую книгу... Мне даже трудно было бы сказать, когда я стал музыкантом. Мать начала давать мне уроки музыки с четырехлетнего возраста. С дедом, прекрасным пианистом, разыгрывал в четыре руки «Собачий вальс». А вот отец был — военный и против музыкального образования возражал: «Какая же это профессия для дворянина, — быть музыкантом?»

Все мое детство связано с музыкой. Провинившихся детей ставят в угол, а меня ставили под рояль. И это наказание представлялось мне самым постыдным... По настоянию моего двоюродного брата Зилоти мать отвезла меня в Москву и отдала в музыкальную школу Зверева, и стал я одним из «зверят», и посещал, конечно, консерваторию. Но об этом уж много писали, не стоит.

— Все же, Сергей Васильевич! Ну, хотя бы эпизод с Чайковским...

— Чайковский видел мой первый этюд, Зверев ему показал. А год спустя, на экзамене в консерватории, подал ему свою работу «Песню без слов». Было мне тогда четырнадцать лет. Экзаменаторам понравилось, — они поставили пять с плюсом. А Чайковский взял бумагу и что-то к ней приписал, — только недели две спустя я узнал, что он приписал мне еще три плюса...

И, полвека спустя, прославленному на весь мир Рахманинову, видимо, приятно было вспомнить про эти три плюса. Улыбаясь, он провел рукой по коротко, ежиком остриженным волосам. («Под арестанта», говорил Шляпин).

**
**

В молодости, в течение двух лет, Рахманинов был дирижером Московского Большого Театра.

— Дирижерство давало мне такую же радость, как и самостоятельное творчество, — вспоминал Сергей Васильевич.

И все же, от дирижерства он отказался. Потом едва не отказался навсегда и от композиторского творчества. Это случилось после неудачи с «Первой Симфонией». Рахманинов закрыл уши, чтобы не слышать свою собственную вещь, слабость которой вдруг стала ему очевидной, бежал из концертного зала и в отчаянии долго бродил по городу. В музыкальных кругах провал симфонии объясняли тогда еще и весьма неудачным ее исполнением под управлением А. К. Глазунова. Жена композитора, Н. А. Рахманинова даже говорила, что «Глазунов был пьян, когда дирижировал ею».* Не знаю, Глазунов пил, но вряд ли он мог выйти на эстраду «пьяным»... Правда, как позже признавал сам Рахманинов, была где-то посередине. Симфония была написана неопытным юношем, плохо инструментована и плохо была исполнена. Но было в ней и много ценного. Тогда он решил, что писать вообще не может и не должен, и четыре года не брался за перо. Это были годы тяжкого душевного кризиса и глубокого отчаяния. Сергей Васильевич целыми днями лежал на кушетке, мрачно молчал, ни на что не реагируя, не обращая внимания на ласку, которой близкие старались поднять его дух, — вспоминала впоследствии С. А. Сатина. Наконец, близкие обратились к известному в то время в Москве психиатру-гипнотизеру д-ру Н. В. Далю. Лечение возымело действие: у Рахманинова снова появилась вера в себя. И свой «Второй Фортепианный Концерт» он посвятил врачу-исцелителю.

Много лет спустя такой же глубокий душевный кризис переживал молодой, блестящий пианист, которого очень любил Рахманинов. Болезнь его взволновала композитора, — виртуоз больше не подходил к инструменту, боялся, что у него «сломаются пальцы». Рахманинов рассказывал мне, как он специально поехал в Швейцарию и долго беседовал с пианистом. Поведал ему о своей собственной болезни и о том, как он превозмог ее.

* «Воспоминания о Рахманинове», Гос. Муз. Изд., Москва, 1957, том 2-ой, стр. 244.

Пианист выздоровел, но непреодолимый страх к эстраде у него остался — больше он не выступает.

А Рахманинов с каждым годом все дальше отходил от композиторства, — он любил играть, без концертов скучал, начинал нервничать, эстрада была ему нужна. Но вместе с тем и жаловался, чувствовал, что пианист в нем мешает композитору, что концерты отнимают у него все силы, держат его в постоянном душевном напряжении. Он говорил:

— Я никогда не мог делать два дела вместе — сочинять и выступать. Я или только дирижировал, или только сочинял, или только играл. После России мне вообще как то не сочиняется. Воздух здесь, что ли, какой то другой...

Разлуку с родиной Рахманинов переживал очень му-чительно. Когда говорил о России, взгляд становился пристальным, в нем загорался какой-то огонь и временами ему трудно было сдержать слезы. Его трижды звали вернуться в Россию. Он трижды отказался. Но когда советское правительство сняло запрет с имени Рахманинова и разрешило исполнение его вещей, Сергей Васильевич обрадовался и сказал мне:

— Должно быть, им стало стыдно.

Рахманинов был, однако, не совсем прав, говоря, что после России ему «вообще не сочиняется». Будучи в эмиграции, постоянно странствуя, он все же написал Третью Симфонию, вариации на тему Корелли, Рапсодию на тему Паганини и «Русские песни».

**

В беседах часто возникало имя Александра Ильича Зилоти, сыгравшего большую роль в жизни Рахманинова. Зилоти я лично не знал, видел его только один раз в жизни при обстоятельствах странных, воспоминание о которых меня преследовало потом долгие годы. В молодости Зилоти был учеником Антона Рубинштейна и Листа, потом блестящим пианистом-концертантом и, на-

конец, сам стал преподавателем... Увидел я его уже восьмидесятилетним стариком, когда годы сильно его изменили.

В день смерти Рахманинова я позвонил к А. И. Зилоти, — он знал его с самого детства, всю жизнь, он мог рассказать много интересного. Условились, что я приду в гостиницу «Ансония», где жил Зилоти, на следующий день, в одиннадцать часов.

В назначенный час я позвонил у дверей. Прошла минута. Вдруг дверь распахнулась и на пороге появился старик необыкновенно высокого роста, худой, удивительно похожий на Листа. Был у него какой-то орлиный взгляд, и сразу бросилась в глаза большая бородавка на лице, из которой рос пучок седых волос.

— Вы зачем? — спросил он в ответ на приветствие.

Напомнил, что у нас было назначено свидание. Может быть, я пришел слишком рано?

— Нет, чего там! Я теперь вспоминаю: вы — настройщик!

— Нет, я журналист... Я ведь предупредил Вас, что хочу поговорить по поводу смерти Сергея Васильевича...

— Почему, собственно, со мной? — как то угрожающе спросил Зилоти.

— Ну, вы его двоюродный брат. Были его первым учителем...

— Мало ли было у меня в жизни учеников!

Эта фраза, да и весь вид старого профессора, — все было так неожиданно и нелепо, что стало ясно: из интервью ничего не получится. Я приду в другой раз.

— Ладно, приходите в другой раз!

Он круто повернулся и быстрой, очень легкой походкой ушел по коридору.

**

Рахманинов не переносил никакой фальши, никакого преувеличения ни в искусстве, ни в жизни. Был необычайно требователен к самому себе, редко бывал удовлет-

ворен, критиковал и иногда доходил до отчаяния. Однажды мне сказал:

— В сезон даю пятьдесят концертов, а иногда и больше... И признаться: раз или два бываю доволен своей игрой... А об остальных выступлениях тяжело вспоминать. Плохо.

Часто возвращался в разговоре к дирижерству, композиторству и концертным выступлениям и со вздохом говорил:

— Я погнался за тремя зайцами и, боюсь, ни одного не поймал.

Покойный альтист Н. К. Авьерино, «дядя Коля», знавший Рахманинова с ранней юности, рассказывал, что Сергей Васильевич сочинял свою музыку не у рояля или у письменного стола, а в голове. Созидательный процесс мог продолжаться очень долго, музыка постоянно звучала у него в голове и в это время он любил быть один и сторонился людей. Потом садился и записывал на нотную бумагу, — очень быстро, почти без помарок. Так создалась легенда о необычайной легкости творческого процесса у Рахманинова. В действительности все было иначе: Сергей Васильевич записывал музыку, когда она была уже готова.

**

Как то зашел разговор с Алдановым о Рахманинове, — я спросил, почему Сергей Васильевич на людях большей частью производит впечатление угрюмого человека. Алданов ответил:

— Он не холодный и не суровый человек. Но, конечно, Рахманинов не принадлежит к категории людей с «душой нараспашку». Я, например, просто не представляю, чтобы кто-нибудь мог быть с ним фамильярен. Это было бы просто страшно... Разве только Шаляпин? Но уж очень они были близки и любили друг друга...

Я вспомнил эпизод, рассказанный кем-то из друзей в сборнике «Памяти Рахманинова»: Шаляпин упрекал

Рахманинова в том, что на эстраде он никогда не улыбается и мрачен:

— Кланяешься ты публике, как факельщик, сказал Федор Иванович.

Рахманинов не остался в долгу:

— А ты, хоть и бас, а раскланиваешься, как тенор...

Они вообще часто и любовно друг над другом подтрунивали. Композитор и профессор Московской Консерватории А. Ф. Гедиге рассказывает в своих воспоминаниях о Рахманинове любопытный эпизод. «На одной из репетиций в Русской частной опере, где пел Шаляпин и дирижировал Рахманинов, случилось следующее: репетиция шла без костюмов и без декораций; Шаляпин не был занят и просто стоял «без дела», несколько солистов повторяли неудавшиеся места, и вдруг Сергей Васильевич замечает, что Шаляпин стоит с разинутым ртом и имеет какой-то нелепый вид. В то же время ясно чувствуется, что он кого-то копирует. Сергей Васильевич говорит мне: «Стараюсь разгадать — и не могу. Наконец, вдруг меня осенило: да ведь это он меня копирует, и я чувствую, что покраснел до корней волос. А дело было в том, что я имел привычку иногда дирижировать с полуоткрытым ртом, а Федор Иванович, со своимственным ему талантом схватывать характерные черты любого человека, заметил эту мою привычку. Рот я приоткрывал вследствие какого-то дефекта в носоглотке (так говорили мне врачи), но с этого дня рот мой закрылся на-глухо».

**

— Вас считают консерватором в искусстве, — однажды сказал я Рахманинову. — Человеком, которому чужд всякий модернизм в музыке.

Другой мог вспылить, — всякий боится обвинения в ретроградстве и в консерватизме, но Рахманинов этому даже обрадовался.

— Да, я консерватор. Не люблю модернизма... Как бы это объяснить?

Сергей Васильевич сел боком, повернулся лицом к роялю, по привычке положил руки на колени и начал вслух собираться с мыслями:

— В искусстве можно полюбить только поняв вещь или целое движение. А модернизм мне органически не-понятен и я не стесняюсь в этом открыто признаться. Для меня это просто китайская грамота.

Был однажды такой случай. Приглашает меня к себе в ложу одна американская дама. Исполняют очень модернистическое произведение. Дама восторженно аплодирует. Спрашиваю:

— Вы поняли?

— О, да!

— Странно... А я вот всю жизнь занимаюсь музыкой, а ничего не понял.

Аналогичный случай произошел когда то с моим славным учителем С. И. Танеевым. Был в Москве музыкальный критик, — фамилию его я сейчас вспомнить не могу. Критик хороший но, собственно, по профессии был он учителем географии. Большой модернист.

В это время repetировали «Прометея» Скрябина. Танеев ходил на каждую репетицию — все старался понять эту музыку. Наконец, встречает критика.

— Понравилось?

Танеев вздохнул. Нет, говорит, не понравилось... Тут критик снисходительно похлопал его по плечу: «Да вы, батенька, просто не понимаете!» А Танеев спокойно так ответил:

— Должно быть, чтобы понять это, не надо всю жизнь заниматься музыкой. Достаточно быть учителем географии.

На мгновенье лицо Рахманинова прояснилось, — воспоминание о случае с Танеевым его развеселило. Но следующий вопрос заставил его насторожиться:

— Как же при вашей нелюбви к модернизму относитесь вы к современной русской музыке?

— Это вопрос довольно щекотливый, его трудно отделить от определенных людей. Давайте, не будем на-

зывать никаких имен. Многих современных русских композиторов я знаю лично и люблю их. Так что будем говорить не об отдельных композиторах, а об общей тенденции.

Чехов утверждал, и в этом он только следовал урокам Толстого, что писать — это значит, больше вычеркивать. Писатель всегда должен иметь под рукой резинку. Мне кажется, что у современных композиторов резинки нет.

И поспешил добавил:

— А таланта у них я не отрицаю.

**

Мало кто по настоящему знал Рахманинова, — он сближался с трудом, открывался немногим. В первый момент он немного пугал, — слишком много было в нем достоинства, слишком значительно, даже трагично, было его изможденное лицо с глазами, полуприкрытыми тяжелыми веками. Но проходило некоторое время и становилось ясно, что суровая внешность совсем не соответствует его внутренним, душевным переживаниям, что он внимателен к людям, — не только близким, но и чужим, готов им помочь. И делал это всегда незаметно, — о многих добрых делах Рахманинова никто никогда не знал.

Да позволено мне будет нарушить слово, данное когда то Сергею Васильевичу и рассказать один эпизод, который я обещал ему хранить в секрете.

Однажды в «Последних Новостях» я напечатал коротенькое возвзание, — просьбу помочь молодой женщине, матери двух детей, попавшей в тяжелое положение. На следующий день пришел от Рахманинова чек на 3.000 франков, — это были большие деньги по тогдашним парижским понятиям, они обеспечивали жизнь этой семьи на несколько месяцев. Сергей Васильевич не знал имени женщины, которой помогает и единственным условием он поставил мне, чтобы я об этом не сообщил в га-

зете, и чтобы никто, — в особенности нуждавшаяся женщина, — не узнали о его помощи.

Он давал крупные пожертвования на инвалидов, на голодающих в России, посыпал старым друзьям в Москву и в Петербург множество посылок, устраивал ежегодный концерт в Париже в пользу русских студентов, — об этом знали, не могли не знать. И при этом Рахманинов, делавший всегда рекордные сборы, во всем мире собирая переполненные аудитории, страшно волновался и перед каждым благотворительным концертом просил:

— Надо что-то в газете написать... А вдруг зал будет не полный?

— Что вы, Сергей Васильевич!

— Нет, все может быть, все может быть... Большая конкуренция!

И этот человек, болезненно ненавидевший рекламу и всякую шумиху вокруг своего имени, скрывавшийся от фотографов и журналистов, вдруг с какой-то ребячей жалостливостью однажды меня спросил:

— Может быть, нужно интервью напечатать? Как вы думаете?

Как то, в начале 42 года, в самый разгар второй мировой войны, «Новое Русское Слово» устроило кампанию по сбору пожертвований в пользу русских военнопленных, тысячами умиравших в Германии с голода. Нужно было распропагандировать сбор, привлечь к нему крупные имена, и я обратился к Рахманинову с просьбой написать несколько слов о том, что надо помочь русским военнопленным. Чтобы Сергей Васильевич не боялся, что обращение его может быть слишком коротким, я предложил напечатать его на первом месте, в рамке.

У Рахманинова было большое чувство юмора и письмо, которое он прислал мне в ответ, носит печать благодушной иронии:

«Многоуважаемый Господин Седых!

Я должен отказаться от Вашего предложения: не люблю появляться в прессе, даже если мое выступление будет «в рамке, как подобает». Да и что можно ответить на вопрос, «почему надо давать на русских пленных?» Это то-же самое, если спрашивать, почему надо питаться. Кстати сообщаю, что мною только что послано 200 посылок через Американский Красный Крест.

Шлю привет. Надо будет как нибудь свидеться, как освобожусь от работы.

С уважением к Вам С. Рахманинов».

Не помню, когда мы виделись в последний раз, но в записной книжке у меня отмечено, что Рахманинов жаловался на усталость и сказал:

— Не хорошо летать на старости лет. А я все тороплюсь, летаю... Иначе нельзя, — не поспеешь!

И в этот же день он сказал, что тоскует по Европе, по своему дому в Швейцарии:

— Здесь я работаю, а там отдыхаю. Есть у люцернского озера домик...

И замолчал, — верно вспомнил, как хорошо работается в этом доме в дождливые дни, у рояля. Там был розовый сад и деревья, любовно выбранные и посаженные под его наблюдением, были прогулки по озеру в моторной лодке, был прозрачный горный воздух. Там он написал одну из последних своих вещей, так много теперь исполняемую рапсодию для фортепиано и оркестра на тему Паганини.

**
*

Накануне смерти его дочь И. С. Волконская вошла в спальню к умиравшему. Сергей Васильевич был без чувств, но рука его слабо и ритмично двигалась, словно слышал он какую-то музыку и пытался дирижировать.

К. Д. БАЛЬМОНТ

БАЛЬМОНТ ушел из мира живых давно, за десять лет до своей физической смерти. Он страдал душевной болезнью, о нем забыли, и мало кто знал, как борется со смертью непокорный дух Поэта, как мучительна и страшна была его десятилетняя агония.

В прошлом, в годы своей всероссийской славы, Бальмонт был горд, заносчив, в гневе несдержан. Человек, стихи которого заучивала наизусть вся Россия, был бесконечно одинок, может быть потому, что Бальмонта-человека просто нельзя было любить. Жил он в каком-то странном, выдуманном им мире музыки и ритма, среди друидов, языческих богов, шаманов, в мире колдовства, солнца и огненных заклинаний, в пышном и несколько искусственном нагромождении красок и звуков.

Не помню теперь, когда и при каких обстоятельствах мы познакомились. Первая, сохранившаяся у меня коротенькая записка поэта относится к 1926 году:

«...Вы указываете время до 3 часов дня. Трудно. Я засыпаю в 3 часа ночи, в 6 часов утра меня будит противный шум улицы, и долго я лежу с открытыми глазами, безгласно проклиная Город. Затем вторичный тяжелый сон — и, конечно, утро мое запоздалое. Заходите лучше, когда сможете, часов в 6 вечера.

Жму руку. Не сердитесь...»

Бальмонт жил в эти годы неподалеку от Люксембургского сада, совсем рядом с Тургеневской Библиотекой. Жил он замкнуто, почти нигде не появлялся. Бальмонт ненавидел город, шумные улицы, бесполезных людей. К тому же, это были тяжкие годы заката — поэзия его оказалась вдруг ненужной, и к человеку, ко-

торый написал так много замечательных стихов, новые, не всегда «молодые» поэты с Монпарнаса относились с снисходительным пренебрежением. Бальмонт от всего этого страдал невыносимо и бывал счастлив только вдали от всех, наедине с самим собой, у моря.

— Это, — великое счастье и великая душевная чистота — быть одному, — говорил он.

Почему-то, когда я шел к нему через весенний Люксембургский Сад, вспомнилась одна наша давнишняя встреча на берегу Атлантического океана. Бальмонт жил в то лето в деревушке, затерянной в песчаных дюнах, среди которых одиноко высился белый маяк. Случайно я попал на этот пустой, унылый, бесконечный пляж. В первый же день мы встретились на берегу, в час отлива. Он шел, глубоко задумавшись, слегка припадая на одну ногу, как раненая птица. (В молодости Бальмонт пытался неудачно покончить самоубийством, выбросился из окна и при этом сломал себе ногу). На влажном песке, у самой воды, оставались глубокие следы. Поэт нисколько не удивился встрече, словно ждал ее и сказал, после приветствия, слегка нараспев:

— Вы — многозоркий!

И, должно быть, поймав мой вопросительный взгляд, перевел с поэтического языка на обыкновенный: в том, что я писал, ему нравилась некая наблюдательность.

Мы шли по пустынному берегу и Бальмонт читал свои певучие стихи:

И свадебным и похоронным звоном
Вхожу в неисчерпаемое Море,
Вокруг меня — лазурной рамой — Вечность.
В моей судьбе — камней редчайших россыпь
Жива, живу, и музыкой мгновенья
В моей крови любая плещет капля.

Он жил в небольшом домике, на краю деревни, там, где пески совсем вплотную подходят к рыбачьим хибаркам. Когда спадала жара, Бальмонт уходил вдоль моря,

по пляжу, в сторону старинного, многобашенного протестантского города Ларошель. Иногда он присаживался на просмоленную барку, лежавшую на берегу, ждал прилива, и когда издали, с глухим и ровным гулом подходил океан, затапливал пески и с ревом разбивался у гранитной набережной, душа поэта наполнялась мистическим ужасом, — «неисчерпаемое Море» манило и пугало его.

Позже, этим же летом, он прислал мне в Париж длинное письмо. Вот начальные его строки:

«Вы спрашиваете, как я живу, что думаю, что делаю.

Трудные вопросы, но постараюсь дать полные и точные ответы. Однако, живу ли я точно или это лишь призрак, — остается для меня самого не совсем определенным. Мое сердце в России, а я здесь, у Океана. Бытие неполное.

Я радуюсь возможности жить не в городе, особенно не в Париже, который последние пять лет мне стал ненавистен — и оттого, что я не выношу грязного воздуха и глупого грохота, — и оттого, что зарубежные русские или потопли в своей беде, или занимаются политическим переливанием из пустого в порожнее — и оттого, что современные французы плоски, неинтересны, душевно бесодержательны. Здесь с утра до вечера, и с вечера до утра, если бодрствую всю ночь, я слышу лишь один звук — широкий гул Океана, — и я вижу лишь два зре лища — простор полей и в особенности синий простор Океана...»

**

«Политическое переливание из пустого в порожнее»... Он не любил политики, чуждался ее и, кажется, считал политику ответственной за все свои личные несчастья и за то, что стихов его больше никто не читал.

Вот характерное для Бальмонта письмо, которое я получил от него в сентябре 1926 года:

«Я живу в лесном mestечке, писал он, среди соснов, на берегу Океана. Пишу стихи, пишу прозу. По-

является моего в печати очень мало, ибо Русские зарубежные газеты предпочитают всякую полемическую болтовню и бессильные покушения на юмористику (ни тем ни другим я не занимаюсь, ибо спорт вообще не люблю, а спорт неопрятный наименее). В это самое время лучшие американские газеты «Бостон Транскрипт» и «Нью Иорк Таймс», а также итальянские ищут моего сотрудничества — я там и печатаюсь. Все это грустно. И если большевизм в России лишь собирается умирать, зарубежная Россия помирает, духовно, весьма усердно».

Но в юности он этим «спортом» пытался заниматься, был революционером, эмигрировал, писал антимонархические и не очень удачные стихи и до конца жизни считал себя человеком левым, что не мешало, однако, высказывать ему подчас мысли необычайно реакционные.

Однажды он рассказал мне:

— В Москве меня вызвали в Чека. Дама-следователь, подслеповатая, в пенснэ, спросила:

— К какой политической партии вы принадлежите?

Я ответил кратко:

— Поэт.

**

Помню вечер на парижской квартире Марины Цветаевой. Мы сидели вдвоем, в сумерки, и говорили о поэзии. Была сырья осень, в квартире еще не топили, Цветаева зябко куталась в оренбургский платок.

Говорили о Блоке («Он был нездешний. Он пришел с того света») о Брюсове, о Бальмонте.

— Бальмонт был не русский, — сказала Цветаева.

— Как? А его совершенно пушкинское: «Есть в русской природе усталая нежность»?

— Да. Хорошо. Но это — исключение. Бальмонт в русской поэзии — заморский гость. Мне всегда казалось, что он говорит и пишет на каком-то иностранном языке. На каком — не знаю. На бальмонтовском.

**

Он мог быть вспыльчивым, бешеным, невыносимо грубым, но мог быть и очень ласковым, приветливым. Впрочем, даже в эти хорошие дни не терял своего высокомерного отношения к людям.

Однажды он подарил мне свою фотографию и надписал на ней стихи:

Хоть капля я, но путь всех капель — в море.

Был я тогда совсем молодым, начинающим литератором, самомнением никогда не страдал, но всё же в душе немножко обиделся: ну, знаю, что я в литературе — капля, но для чего же нужно было это так подчеркивать?

Много лет спустя в «Воспоминаниях» Бунина прочел о Бальмонте: «Когда-то, в журнале Брюсова, в «Весах», называл меня в угоду Брюсову, «малым ручейком, способным лишь журчать».

Я после этого успокоился...

К слову сказать, Бальмонт никого не любил, а Брюсова ненавидел лютой ненавистью. По свидетельству Цветаевой, в день своего отъезда из России, 12 июня 1920 года, уже стоя на грузовике, Бальмонт на прощанье крикнул провожавшему его имажинисту Кусикову:

— С Брюсовым не дружите!

**

Сейчас не могу вспомнить — кажется, окно парижской комнаты Бальмонта выходило в чужой сад, или на верхушки платанов соседнего бульвара Пор-Руаяль, но первое, что он показал мне широким, горделивым жестом, — это были верхушки деревьев. Так утопающий в золоте магараджа показывает гостям свой сад с райскими птицами.

— Я уезжаю. Надолго, — сказал Константин Дмитриевич. — Я много прожил на земле, много видел людей,

бывал и раньше в изгнании и пришел сейчас к заключению: душа умерла. Здесь больше нет ключа живой воды, нет служения, и я не знаю, что выйдет из наших жертв, и будут ли они когда-нибудь нам засчитаны.

Я познал первую горечь изгнания еще в 1902 году. После избиения манифестантов казаками я прочел на вечере мое стихотворение «Маленький Султан». Слышали ли вы его когда-нибудь?

Это было в Турции, где совесть вешь пустая,
Где царствует кулак, нагайка, ятаган,
Два-три нуля, четыре негодяя
И глупый, маленький Султан.

Обыск. Высылка. Я уехал в Англию переводить Шелли. Потом в Париже я застал Максимилиана Волошина и С. Л. Полякова-Литовцева. Они жили дружно, бедно и трогательно, всем друг с другом делясь. Второе изгнание, после 1905 года, продолжалось семь лет... И сейчас — третье. Признаюсь, я не нахожу удовольствия быть изгнаником.

Бальмонт вдруг развелся и, закинув назад голову, — лоб его от волнения покрылся красными пятнами, начал отрывисто говорить:

— Я не знаю, где для меня было больше страданий: в России, где я три года подряд голодал, или здесь. Здесь нельзя дышать, здесь просто задыхаешься. Уехать в Россию? Я не хочу жить в непосредственной близости к «начальству» и не приемлю насилия...

**

Зимой, на писательском балу в Отель Лютеция, мы сидели вдвоем за столиком. Перед нами стояла бутылка белого бордо. Бальмонт потягивал вино из своего бокала, быстро хмелел и все читал стихи, — я любил слушать его певучий, какой-то носовой голос.

Буфетный лакей, томившийся без дела или желав-

ший поскорее освободить столик, подошел без приглашения и положил на скатерть счет.

И здесь я увидел страшного Бальмонта. Он побелел, поднялся во весь рост, бешено сверкнул глазами и, подняв бокал с вином, не сказав ни единого слова, разбил его о голову лакея...

Позже такие случаи участились, и его уже боялись приглашать в семейные дома и на литературные вечера из опасения скандала. Должно быть, это было начало той длительной душевной болезни, которая привела Бальмонта сначала в больницу, потом в Дом Отдыха матери Марии, где он прожил последние годы своей тяжкой жизни, — притихший, ничего больше не сознававший, никогда больше не улыбавшийся.

**
*

Он мог говорить о себе в третьем лице:

— Поэт хочет любить!

Охотно декламировал Есенина, Ахматову, Цветаеву. Об Ахматовой говорил:

— Я знал ее еще в Петербурге. Она была тогда прекрасной женщиной: тонкое лицо, полное одухотворенности, гибкое, змеиное тело, и вся она походила на египетскую плясунью.

Он мог рассказывать часами о своих странствиях, о лесах Явы, об австралийских просторах, о священных танцах Индии, о малайских заклинаниях,очных ритуалах «вуду». У него столько накопилось, он так много в жизни видел! Поражала любознательность Бальмонта, его жажда знания, его неутомимая работоспособность — он писал целые ночи напролет, он говорил, что ночь — это рабочий день Поэта. По существу, Бальмонт был великим тружеником, он не ждал вдохновения или «посещения Музы», он писал регулярно, по многу часов каждый день, всю жизнь, и писал с необыкновенной быстротой. Что стало с множеством его неопубликованных рукописей?

Он был не такой, как все люди, отличался от других не только душевно, но и внешним видом. Казалось, он сошел с полотна Рембрандта. Его часто сравнивали с испанским грандом, — Испания была необыкновенно ему близка и, кажется, он культивировал в себе внешнее сходство с рыцарем Гойи или средневековым трубадуром. Читая, он откидывал назад голову. У него был высокий, открытый лоб, копна рыжих волос, к которой в последние годы начала прибавляться седина и рыжая борода. Глаза внезапно загорались и быстро потухали, — они были странного, зеленоватого оттенка, такого же, как большой изумруд в его галстуке.

В последнюю нашу встречу, когда Константин Дмитриевич был по настоящему уже болен, подавлен душевно, как-то особенно высокомерен, словно бросал вызов всему миру, он прочел мне мрачную поэму Эдгара По о «Вороне». И я слышу еще сейчас его голос: рыкающий, неровный, резкий и в то же время певучий:

И сидит, сидит зловещий, Ворон черный, Ворон вещий.
С бюста бледного Паллады не умчится никогда,
Он глядит, уединенный, точно демон полусонный,
Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда,
И душа моя из тени, что волнуется всегда,
Не восстанет — никогда!

**

Мне рассказывали: Бальмонта хоронили глубокой осенью. Свеже вырытая могила была наполовину затоплена водой. Так, в эту холодную и мутную воду и опустили гроб Поэта.

ТРИ ЮМОРИСТА

ТРУДНО быть юмористом в эмиграции. И не потому, что не над чем посмеяться и нечего высмеивать — эмигрантская жизнь содержит немало сторон, фантастических по своей нелепости и карикатурности. Мы пробуем смеяться, но смех быстро обрывается, а улыбка становится горькой. Так уж повелось, что смех наш всегда «сквозь слезы». Должно быть, такова натура — просто смеяться мы не умеем, сейчас же кто-нибудь напомнит, над кем смеемся, над собой смеемся... Знал я трех больших юмористов — Дон Аминадо, Сашу Черного и Н. А. Тэффи. Все они принадлежали к тому поколению русских писателей, которое продолжало классическую традицию русского юмора, пропитанную гуманностью и жалостью к человеку.

Быть может, это не вполне применимо только к Дон Аминадо. В нем сатирик всегда был сильнее юмориста. Он не только смеялся, но и высмеивал, и высмеивал, подчас, жестоко.

Темы свои он черпал из «нашей маленькой жизни». Никто так не умел изображать почтенных общественных деятелей, устраивающих свои собственные юбилеи, бесполковые собрания с прениями сторон и благотворительные вечера с домашним буфетом и танцами до последнего метро, как Дон Аминадо. Некоторые его вещи написаны с блеском непревзойденным. Как забыть рассказ гарсона парижского кафе, который жалуется на своих русских клиентов? Приходят они всегда толпой и первым делом начинают сдвигать все столики вместе, словно для банкета. Французы заранее знают, что хотят выпить, и заказывают сразу. Не то русские. Сначала они требуют

чай для всех, потом кричат, что передумали. Один хочет сандвич с ветчиной, другой пиво, третий чай, четвертый кофе... И гарсон никак не может разобраться в тайниках славянской души.

И в жизни Дон Аминадо всегда был остроумным и блестящим. Знал я его очень хорошо, знакомство наше и дружба начались в те далекие годы, когда Дон Аминадо и Алексей Толстой, еще именовавший себя графом, начали издавать в Париже детский журнал «Зеленая палочка». А потом произошло такое событие. Пришел я в зал Гаво на вечер Дон Аминадо и на сцене увидел прелестную девушку в белом атласном платье, которая играла в его скетче. Был я тогда непростительно молод и еще не научился проходить равнодушно мимо молодых актрис.

Дон Аминадо подвел меня к ней и представил: «Познакомьтесь, это Андрей Седых, а это — Женичка Липовская». И тут же, обращаясь ко мне, вылил ушат холодной воды:

— Только я вас предупреждаю, дорогой, из вашей попытки начать с нею роман ничего не выйдет.

Позже, когда Женичка Липовская стала моей женой, я буквально годами отравлял ему жизнь и при встрече всегда говорил:

— Ну, какой же вы плохой психолог, Аминад. Ни один мой роман в жизни не был таким продолжительным и удачным, как роман с вашей Женичкой Липовской!

Он смотрел на меня внимательно, словно изучая, и вздыхал:

— Да, дорогой... Вы совершенный Андрюша Ющинский.

В редакцию «Последних Новостей» он приходил два или три раза в неделю, сдавал свои стихи или фельетон А. А. Полякову, — единственному, кажется, человеку, с мнением которого серьезно считался, а затем мы сходили вниз, пить горьковатое кофе у Дюпона. Иногда присоединялся к нам М. А. Алданов. Он любил послушать веселый разговор, но сам никогда не острил и в суждениях о людях всегда соблюдал крайнюю осторожность,

— мы не спроста считали Алданова последним джентльменом русской эмиграции.

В эти годы Дон Аминадо создал тип эмигрантского денационализированного мальчика — Колю Сыроежкина, и мы наслаждались этим Колей, который постепенно стал для нас как бы живым существом.

Коля любил задавать вопросы, на которые редко получал ответы:

— Куда идет папа, когда он выходит из себя?

Или:

— Почему, когда приходят гости, мама все время пудрится и извиняется? И почему, когда гости уходят, мама говорит — слава Богу?

— Что такое нервы и как их взвинчивают?

— За что тетя Катя держится, когда она ходит по скользкой дорожке?

— И как могут все большевики висеть на одном волоске?

Славился Дон Аминадо и своими афоризмами, которые читатели запоминали и с наслаждением повторяли:

— Волосы, как друзья, — писал он. — Седеют и редеют.

Или:

— Ничто так не старит женщину, как ее возраст.

— В нормальной женской биографии — до тридцати лет хронология, после тридцати лет мифология.

— Приспособьте декольте к вашим карт д-идантитэ!

— Богатые люди украшают свой стол цветами, а бедные — родственниками.

— Бросая утопающему якорь спасения, не старайтесь попасть ему непременно в голову.

Множество острых его слов никогда не было напечатано, — в особенности после второй мировой войны, когда вообще нигде он не печатался и еженедельный свой фельетон заменял письмами друзьям в Америку.

«...О том, что было пережито всеми нами, — писал он в августе 1945 года, — оставшимися по ту сторону добра и зла, можно написать 86 томов Брокгауза и

Эфрана, но никто их читать не станет. Поразило меня только одно: равнодушие. При встрече разговор такой: 'А что, ваша мебель в порядке? — А потом прибавляет: — А у меня, вы вероятно слышали, жена депортирована...' При этом неизбежное торопливое полуусклизывание, и через две минуты можно смело перейти на армянский анекдот и дороговизну жизни.

Вообще говоря, все хотят забыть о сожженных, как 30 лет назад хотели поскорее отбиться от польских беженцев, когда у Яра пели цыгане, и Качалов декламировал Пера Гинта... Не думайте, что я преувеличиваю, по существу это именно так. Ибо для тех, кто уцелел, — Бухенвальд и Аушвиц это то же самое, что наводнение в Китае».

Позже, в другом письме:

«Вот и сейчас — аккордеон по радио изображает национальное творчество 'Парлэ муд д'Амур', а кило мяса стоит около трех долларов, хлеб и свинину не едят, угля ни-ни, а за фунт белой муки можно иметь Полу Негри в молодости! Не удивлюсь, если зимой будут петь Бублички и Кирпичики в переводе на галльский язык».

Отзыв Дон Аминадо о журналисте, который сотрудничал во время оккупации с врагом:

— Мерзавец. Цитирую по памяти, как любит выражаться осторожный Алданов.

О недобросовестном издателе:

— Это не книгопродавец. Это книго-христопродавец.

Или о Чеховском издательстве:

— Могила Неизвестного Писателя.

Сколько таких блестков остроумия разбросано в письмах, которые хранятся у А. А. Полякова или в моем архиве!.. Жил он в последние годы под Парижем, в городке Иер и иногда называл себя 'иеро-монах'. И в одном из последних писем, уже тяжело больной, писал:

— За автобусами не бегайте. Не проверяйте свой возраст на автобусах.

Дон Аминадо был сатириком, достойным наследником Козьмы Пруткова, а по-настоящему он хотел быть только поэтом, писать об уездной сирени и соловьях, о золотых локонах Тани, в легкой, зимней пороше. Было у Дон Аминадо немало шутливых стихов, сближавших его с Агнивцевым:

Джоссиана любила поэта,
 Поэт воспевал любовь, —
 Негра — вам странно это?
 За его негритянскую кровь.
 Но страсть и певучая лира
 Без денег — ни то, ни се.
 И она любила банкира,
 Который платил за все.

И когда, свою душу печалия,
 Приходил поэт, для него
 Открывала она крышку рояля
 И играла Шопена... всего!
 Когда же, страдавший одышкой,
 Попадал банкир в ее плен,
 Она хлопала рояльной крышкой.
 Ибо зачем банкиру Шопен?

И так как вполне совершенна
 Только смена концов и начал,
 То поэт устал от Шопена,
 А банкир от поэта устал.
 Поэтому вовсе не странно,
 А естественно было вполне,
 Что осталась одна Джоссиана
 С негром наедине.

Он чернее был крышки рояльной,
 Но, любовью своей осиян,
 Лишь сказал Джоссиане печально:
 Лэди Джо, лэди Си, лэди Анн!

И Шопена в тонах минорных
 Она сыграла не так, как всем,
 А на одних только клавишиах черных,
 Не касаясь белых совсем.

И это тем более ценно,
 Что каждый должен признать,
 Как трудно в честь негров Шопена
 На одних диезах играть...

В последний мой приезд в Париж мы встретились в ресторане за завтраком.

Он был уже болен, мрачно настроен и все говорил об ушедших, о смерти Бунина:

— Процессия за его гробом напоминала исход евреев из Египта...

Чтобы развлечь Дон Аминадо, я начал рассказывать ему о Нью-Йорке, о жизни русских американцев. Он слушал, иронически улыбаясь, — об Америке сохранил плохие воспоминания, — и вдруг сказал мне лозунг, пестревший в это время на стенах Парижа:

— *American, go home!*
 Больше я его не видел.

**

В стихах Дон Аминадо был лиричен. Его проза напоминала удары рапиры. У Саши Черного никогда не было этой заостренности фразы. В нем поэт всегда пересиливал сатирика и юмориста, в особенности в последний, парижский период его жизни.

Из России Саша Черный приехал в Париж уже знаменитым «сатириконцем». Кто еще до революции не знал и не декламировал его очаровательных, остроумных стихов:

Мать уехала в Париж . . .
 И не надо! Спи мой чиж.

А-а-а! Молчи, мой сын,
Нет последствий без причин.
Черный гладкий таракан
Важно лезет под диван.
От него жена в Париж
Не сбежит, о, нет, шалишь!

Множество веселых и сатирических стихов было им написано в России. А в Париже Саша Черный как-то изменился, стал глубже и все больше начал уходить от сатиры и юмора в область чистой лирики. Был он Поэт с большой буквы, но в романтический плащ не драпировался, поэтических поз не принимал, и если писал о Пегасе, то его Пегас был симпатичным лохматым коньком, очень приятным, своим, близким.

Познакомились мы в Париже. С Александром Михайловичем было всегда уютно, но очень быстро я почувствовал в нем два противоречивых начала, — периоды грусти сменялись веселым, благодушным настроением и он по праву мог о себе писать:

Солнце светит — оптимист.
Солнце скрылось — пессимист.

Он часто приходил в редакцию «Последних Новостей». Устраивался где-нибудь в уголке, застенчивый, скромный, и молча наблюдал. Если ему говорили комплименты, он смущался, словно в чем-то был виноват, скорее переводил разговор на другую тему. И наружность у Саши Черного была располагающая. Ничего резкого, мягкие черты лица, румянец на щеках, блестящие, черные, всегда внимательные глаза и седые как лунь волосы. Однажды он сказал мне, еще молодому, с большой шапкой черных волос:

— Как странно: вот вы — Седых, а черный. А я — Черный и совсем седой.

Мы потом много смеялись, вспоминая эту остроту.

Он вообще любил смеяться, не только для читателя, но и для себя и для своих друзей. Без улыбки не мог рассказывать о похождениях своего верного друга фокса Мики. Фокс был презабавный, — половина головы черная, половина белая, и он был умница — понимал каждое слово своего хозяина. Были у Мики свои обязанности. Каждое утро, в половине восьмого, он садился в передней у двери и не сводил глаз со щелки у пола. Проходили минуты, Мики не двигался и только постепенно от нетерпения и внутреннего волнения начинал дрожать всем телом... Наконец, часов в восемь, консьержка, разносившая почту, начинала просовывать в щелку номер «Последних Новостей». Сначала показывался кончик сложенной газеты, потом больше... Наконец, наступал бла-женный момент: Мики хватал газету зубами и стрелой летел в спальню, прыгал на постель Александра Михайловича и с торжеством подавал ему номер. В конце концов, песик дождался и литературной известности. Саша Черный начал печатать «Дневник фокса Мики». Оказалось, что Мики прекрасно разбирается в политических вопросах и может давать недурные советы людям.

Мы были знакомы еще в тот период, когда он подписывался Саша Черный. А потом вдруг что-то случилось и он стал подписываться А. Черный. Я спросил, почему, и он насмешливо ответил:

— Какой же я теперь Саша? Уже подрос... И так всякий олух при встрече мне говорит: здравствуйте, Саша! Буду называться Александром Черным.

Так и осталось. Все, что писал А. М. Черный, было свое, оригинальное, ни на кого не похожее, но жить было трудно, — из «очарованного странника» поэзии он вдруг превратился в странника настоящего, в эмигрантского писателя, морально растерянного, материально необеспеченного.

— Неправильная у вас биография, — сказал ему однажды Дон Аминадо. — Непростительная это ошибка, — не иметь ни родины, ни квартиры, ни портрета Алек-

сия Максимовича Горького с собственноручной надписью...

Но все же, с годами, некое подобие прочной жизни наладилось. Саша Черный много работал и лелеял мечту:

Жить на вершине голой
Писать простые сонеты
И брать от людей из дола
Хлеб, вино и котлеты...

И вот, эту свою скромную мечту он, наконец, осуществил. На юге Франции, в mestечке Фавьер, среди виноградников и зеленых холмов Прованса, он купил себе скромный домик — последнее свое пристанище. Посадил вокруг десяток деревьев, собственно ручно сколотил две скамейки, — а вдруг сюда вечером придут влюбленные и захотят посидеть в тишине и одиночестве?.. Отсюда, с вершины холма, открывался вид на море, на зеленые виноградники Прованса, на обожженный солнцем Эстерель.

Здесь он гулял со своим Мики жарким, солнечным днем 5 августа, когда вдруг раздались крики «Пожар!» На соседнем участке загорелся лес... Страшные лесные пожары случаются в этих местах. Эстерель горит каждое лето. Паровозная искра или брошенная на землю папироса уничтожают тысячи гектаров леса. Мгновенно вспыхивает сухой вереск, с треском загораются смолистые сосны и начинает бушевать всеуничтожающий огонь, оставляя позади себя только обездоленную черную землю, покрытую золой, да обугленные пни деревьев... Александр Михайлович бросился тушить и, к счастью, огонь быстро удалось забросать землей.

Вернулся он домой усталый, прилег отдохнуть, и у него случился сердечный припадок, а через полчаса Саша Черный умер.

Ему было всего 52 года.

**

Тэффи было много лет, но с чисто женской кокетливостью возраст свой она тщательно скрывала. Помню, в декабре 1950 года мы задумали устроить вечер Тэффи и начали обсуждать, к какому событию его приурочить?

— В этом году, — вспомнила Надежда Александровна, — исполняется 50-летие моей литературной деятельности.

И поспешило добавила:

— Печататься я начала пятнадцати лет от роду.

Дескать, не трудитесь считать мои годы, я еще молодая. Но, к моему изумлению, несколько дней спустя Тэффи сама предложила:

— Давайте устроим этот вечер по случаю моего 80-летия.

Увидев мой вопросительный взгляд, она спокойно начала объясняться, что я ничего не смыслю в женской психологии:

— Скажем, вот я объявлю, что мне 70 лет. Сейчас же все мои лучшие подруги возмутятся. «Душенька, да какие же ей 70 лет? Я ведь знаю! Давно было. Несколько годиков она попросту сбросила со счетов...» Это нехорошо. А вот я объявлю, что мне только что стукнуло 80 лет. И все в восхищении: «Вы подумайте, какой моло-дец Тэффи! 80 лет, а на вид нельзя дать больше семидесяти». — И Надежда Александровна добавила:

— До 70 лет нужно себе годы уменьшать. А потом лучше сразу накинуть десяток лет и бить все рекорды долголетия.

Старым, конечно, никто не хочет себя признавать, а Тэффи не хотела этого в особенности. Помню, после освобождения Франции я послал ей какую-то стандартную вещевую посылку. Через некоторое время от Тэффи пришло письмо. Очень благодарит, продукты и вещи пре-восходные, но в конце легкая обида:

— Для чего вы вложили в посылку пакет бритвен-

ных ножей? Неужели вы думаете, что я стала такая старая, что у меня борода растет?

С посылками из Америки ей вообще не везло. Однажды пришел пакет от кого-то из Чикаго. Раскрывает, и среди прочих вещей находит диковинную пару шерстяного белья, что-то вроде егеровского. Гимнастическое трико, длинные штаны и фуфайка, все вместе, одна цельная штука. Тэффи повертела ее в руках и, не то из любопытства, не то из врожденной женской любви к примеркам, решила попробовать, как она в этом будет выглядеть?

Начала натягивать трико на себя, стоя посреди комнаты, и по ошибке попала двумя ногами в одну штанину. И, должно быть, от усилия, в эту же секунду начался у нее припадок грудной жабы, — такие припадки случались довольно часто.

— Вот я так стою посреди комнаты, — рассказывала она, — боюсь пошевельнуться, и в голову мне приходит мысль: а вдруг я сейчас умру от этого припадка? И найдет меня консьержка, в этом трико, с двумя ногами в одной штанине...

От этой мысли она развеселилась, начала смеяться, и припадок благополучно прошел.

В письмах, которые у меня сохранились, она часто жаловалась на свои болезни.

Вот некоторые выдержки:

—...В дом в Нуази меня не берут. Там только законные старухи, за которых платит мэрия.

Я в последнее время совсем одурела от лекарств и работать не могу. Дилемма: погибать в полном уме от спазм, или жить идиоткой с лекарствами. Я дерзновенно и радостно выбрала второе.

За весь год была два раза в гостях и до сих пор живу как в дурмане от сильного впечатления. Все едят и все кого-то ругают. Но главное, все-таки, едят».

«...Несколько дней тому назад навестила Бунина. У него вид лучше, чем был на юбилее. С аппетитом по-

говорил о смерти. Он хочет сжигаться, а я его отговаривала.

Все мои сверстники умирают, а я все чего-то живу. Словно сижу на приеме у дантиста. Он вызывает пациентов, явно путая очереди, а мне неловко сказать и сижу, усталая и злая».

Тэффи раздражало, что люди считали ее юмористкой и что с ней, по их мнению, всегда должно случаться что-то забавное.

— Анекдоты, — говорила она, — смешны, когда их рассказывают. А когда их переживают, это трагедия. И моя жизнь, это сплошной анекдот, т. е. трагедия.

Рассеяна она была необычайно. Как-то ей нужно было отправить по почте 100 франков. Чтобы долго не возиться, положила бумажку просто в конверт, надписала адрес и отправила.

Через два дня Тэффи получает письмо. Почерк на конверте странно знакомый, а чай — не может вспомнить. Распечатала. В конверте лежат 100 франков. Весь день ломала себе голову: что это означает? Вечером пришла в гости одна приятельница. Тэффи показала конверт. «Может быть догадаетесь, чай это почерк?» «Как чай? Конечно — ваш!» Оказывается, Тэффи сама себе послала 100 франков, и очень радовалась, неожиданно получив деньги.

С деньгами вообще часто выходили нелады.

— Ученые лошади, — говорила Тэффи, — умеют считать до четырех. Я всегда этим лошадям завидовала. У меня так: думаю «четыре», а пишу «восемнадцать». И всю жизнь так было. Помню скандальный случай в Висбадене, во время инфляции, после первой мировой войны. Скандалила, собственно говоря, я. Прохожу мимо банка, вижу выставлен курс. За франк дают 120 марок. Зашла. «Вот, разменяйте». Вместо 120 мне дают 135. Я выражаю явное неудовольствие: «Почему же у вас в окошке выставлена другая цена?» Клерк лю-

безно объясняет: еще не успели переменить. Курсы валюты передают по телефону каждые полчаса.

— Да, но вы должны сразу же менять, — строго сказала я. — А то зря вводите публику в заблуждение.

Клерк покраснел, а я взяла его марки и очень недовольная вышла. Потом оглянулась и увидела, что и клерк вышел на улицу и долго смотрел мне вслед. Мне почему-то показалось, что 135 гораздо меньше, чем 120. Но странно, что этот дурень никак не мог догадаться, а ведь кажется нетрудно. И еще вслед смотрел.

Рассказывать о своей рассеянности она особенно любила и, кажется, слегка присочиняла.

Пришла к Тэффи Е. Н. Роцина-Инсарова. Поговорили, посудачили и решили выпить чаю. Пошли на кухню, зажгли газ, поставили чайник. Начали ждать. Потом, конечно, заговорились и о чайнике забыли. Спокхватились и смотрят — чудо: газ горит, а чайник холодный. Тэффи сейчас же решила, что это какой-то оккультный случай. Но Роцина-Инсарова оказалась женщиной более проницательной и сразу догадалась: «Как странно, ведь мы зажгли одну горелку, а чайник поставили на ту, которая не горит».

А вот другой рассказ из этой же серии:

— Года два назад был со мною довольно глупый случай. Была я в гостях у одной дамы и скучала до одури. Я и говорю: «Мне пора домой идти». А та уговаривает — посидите, да посидите. А я говорю — нет, мне пора. Посмотрела на стену, думала, что там часы, а там висел календарь. Ну, я не сразу разобрала по своей рассеянности и мне показалось, что это часы. Я и говорю: «Нет, мне давно пора. Вот уже шестое, четверг, а меня ждали дома пятого». А дама как-то испугалась и говорит: «Ну идите, идите, Господь с вами!»

«...Неужели вечер Тэффи дал такие большие деньги?! Ваша система продавать билеты на благотворительные вечера конечно полна достоинства и человеческого самоуважения. Но наша, парижская, хотя и гнус-

новатая, но приносила плоды. За билет, расцененный в 200 франков, давали по две тысячи, причем допытывались, кто сколько дал, чтобы себя не продешевить. Вот тогда-то и сказал один из благотворителей, покупая билет на Пушкинский вечер: «Я могу дать и больше, если он действительно голодает».

«...Нет, напрасно Бунин так ругает стихи Есенина. Поэт Есенин был хороший, но поведение у него было совсем уж какое-то подзаборное. Помню, как в Париже он вызвал ночью к себе в «Кларидж» своего секретаря Ветлугина. В номере полный разгром, зеркала разбиты, растерзанная Дункан валяется пьяная на полу. «Скажи скорее, как по-английски стерва. Я тебя за этим и звал».

«...Я перечитывала недавно моих «Мережковского и Гиппиус». Верьте слову, и половины не рассказала того, что следовало бы. Не хотелось перемывать грязное белье... Они были гораздо злее, и не смешно-злые, а дьявольски. Зина была интереснее. Он — нет. В ней иногда просвечивал человек. В нем — никогда».

«...Что выбросили фразу из моего фельетона — спасибо. Я могу еще и не то написать. 'Стар я стал и шаловлив', как мельник из 'Русалки'. Дурею не по дням, а по часам, но чужую дурость вижу зорко, до тошноты».

«...Торопитесь приехать в Париж. А то — умру. Другую такую не найдете. Уникаум.

Только предупреждаю: здесь вас ждут страшные хари! Голубчик, не пугайтесь. Вы нас давно не видели. Мы очень старые, облезлые, вставные зубы отваливаются, пятки выворачиваются, слова путаются, головы трясутся — у кого утвердительно, у кого отрицательно, глаза злющие и подпухшие, щеки провалились, а животы вздулись. Вот. Теперь вы знаете какая картина вас ждет».

Я опоздал. Приехал в Париж уже после смерти Н. А. Тэффи.

Часто перечитываю ее книги. Конечно, была Тэффи

большой писательницей, у которой смешное неизменно переплеталось с грустным. Писала она об очень усталых, незаметно стареющих, одиноких людях. О штабс-капитанах, превратившихся в шоферов такси. О седовласых стариках, ставших мальчиками на побегушках в русских бакалейных лавочках. О лысеющих дядях, которых все почему-то называют «Вовочками», хотя душе общества Вовочке давно уже пошел седьмой десяток. В рассказах ее часто появляются мятущиеся женщины с мерцающими глазами, которые успокаиваются на том, что начинают делать шляпки или становятся портнихами... Или ее бессмертный старичок-генерал, который приехал в Париж, вышел на площадь Конкорд, оглянулся и сказал:

— Все это хорошо. Но кэ фэр? Фэр-то кэ?

Саша Черный подсмеивался, Дон Аминадо издавался, Тэффи вскрывала пошлость эмигрантских будней, — а все же нельзя побороть в себе жалость к людям, о которых они пишут. Может быть потому, что люди, о которых писали наши три юмориста, овеяны у них каким-то теплым и снисходительным чувством. Они близки нам, мы их любим, потому что Дон Аминадо, Черный и Тэффи тайно любили своих героев.

Белинский когда-то сказал, что Гоголь пишет «слезные комедии»: сначала смешно, а потом грустно. Творчество трех юмористов, — это замечательно верное изображение нашей жизни, в которой смешное и грустное так тесно переплетаются, что не всегда разберешься — плакать хочется, или смеяться?

В. Л. БУРЦЕВ

БУРЦЕВ был Дон Кихотом русской эмиграции. Всю жизнь этот человек сражался с ветряными мельницами, высоко поднимался на их крыльях и больно разбивался при падении на землю. В некоторой степени был он куда более одинок, нежели рыцарь Печального Образа, — не имел даже верного оруженосца, всю жизнь прожил схимником, удивленно взирая на чужой и ко всему равнодушный мир своими подслеповатыми глазами. Был он фанатиком идеи. Карфаген следовало разрушить, и этим разрушением был он настолько поглощен, что о других, материальных сторонах жизни никогда не думал.

Вспоминаю очень характерный для Бурцева случай. В 30 году, чтобы оживить газету во время «мертвого сезона», рижское «Сегодня» поручило мне устроить анкету среди писателей, художников, политических деятелей. Тема была несложная, — кто и как проводит лето? Тон дал Дон Аминадо, ответивший прелестными шуточными стихами:

Спрашивал Седых поэта:
Как проводите вы лето?

И другие ответили в том же духе: деревня, море, горы... Когда дошла очередь до Бурцева, он прислал мне типичное для себя письмо:

«В обычательском смысле слова я не хочу понимать Вашего вопроса. Кому интересно — кто и что летом делает? Поэтому я Вам отвечаю на Ваш вопрос в полити-

ческом смысле. Говорю то, что составляет сущность моей нынешней деятельности.

В последнее время я не вижу решительно никого, кто бы занимался борьбой с большевиками. Об этом я и хочу кричать в моем ответе».

Борьба с большевиками и с большевицкой провокацией, — вне этого Бурцев не видел никакого смысла в жизни. Было вообще непонятно, как этот человек существовал, — земными благами он не интересовался и тратить деньги на себя, на свои личные нужды, считал величайшим грехом. Если случайно в руки Владимира Львовича попадали несколько сот франков, он немедленно бежал к типографу и заказывал очередную свою брошюру.

О слабости этой хорошо знали друзья, заботившиеся о Бурцеве и, в конце концов, перестали ему давать деньги, — платили за комнату в отеле, покупали для него обеденные талоны в русской студенческой столовой, а Владимир Львович, прищурив глаза, смотрел на людей с укором:

— Как же так? Сколько денег зря потратили! А у меня как раз есть работа о Пушкине и я хотел ее издать...

Нечего греха таить: Бурцев, шестьдесят лет своей жизни занимавшийся литературой, редактировавший «Былое» и «Общее Дело», писал коряво, с трудом связывал фразы, до бесконечности их перечеркивал и от всего этого ужасно страдал. Был он в своих писаниях каким-то косноязычным, временами совершенно беспомощным, но происходило это главным образом оттого, что в процессе писания интересовал его не стиль и не внешняя форма, а содержание, — та мысль, которую он развивал. На стилистические исправления со стороны он шел охотно и сам об этом просил, но основную свою идею защищал яростно, до конца, — и здесь уже не шел ни на какие компромиссы, был непримирим.

**

Из бесчисленных встреч с Бурцевым особенно запомнилась одна. Мы сидим рядом, в читальном зале парижской Национальной Библиотеки. Изо дня в день здесь можно было встретить одних и тех же посетителей. Не подалеку устроился Ю. Делевский, почему то упорно здоровавшийся с нами то по итальянски, то по испански; ближе к проходу работал Алданов, — в те времена совсем молодой и красивый, с черными волосами, не успевший еще располнеть, — он писал свои первые исторические романы и делал бесконечные выписки из старинных документов и журналов... Я в этот день почему то просматривал комплект «Матэн» за 1912 год, — в старых газетах иногда можно найти необыкновенно интересные вещи. И именно такую вещь нашел я на первой странице номера от 18 августа. Заголовок, набранный жирным шрифтом, гласил:

В ЧЕТВЕРГ 15 АВГУСТА ВО ФРАНКФУРТЕ
ВСТРЕТИЛИСЬ БУРЦЕВ И АЗЕФ

Предатель исповедался перед революционером

Под этим — ряд фотографий. Азев, в кепке, жирный, самодовольный. Бурцев в своих неизменных очках, в котелке, бородка клином. Клише записки, присланной Азевом: «Жду Вас сегодня с часу до половины третьего в кафэ Бристоль на Шиллерплац — легко найдете».

Со времени этого нашумевшего свидания прошло лет двадцать. Бурцев сильно постарел, сгорбился, его волосы стали белыми, как лунь. И вот он сидел здесь, рядом со мной! Когда я библиотечным полушепотом позвал его и показал номер «Матэн», Владимир Львович даже привстал, руки его слегка задрожали и он впился глазами в портрет Азефа, словно желая проверить, действительно ли перед ним смертельный враг, — провокатор, на борьбу с которым ушли самые лучшие и страш-

ные годы его жизни. Это был Азеф, — такой каким он видел его в последний раз.

Потом Бурцев кивнул мне головой и мы вышли из читального зала в коридор.

Здесь он начал рассказывать.

**

— Азеф бежал из Парижа 5 января 1909 года, убедившись, что он окончательно разоблачен и приговорен к смерти. Два дня спустя эсеры особой прокламацией объявили его провокатором, но Азефа и след простили. Три года подряд, после этого, члены Боевой Организации пытались найти его. Все поиски оставались тщетными. Шел слух, что он в Германии. Но говорили также, что он скрылся под чужим именем в России, изменил свою внешность и продолжает служить в департаменте полиции. Некоторые высказывали уверенность, что предатель нашел убежище в Америке. Сам я не терял надежды напасть на его след и предчувствие меня не обмануло.

Летом 1912 года от одного информатора мне удалось получить сведения, что Азеф живет во Франкфурте. Я тотчас же написал ему письмо с просьбой о свидании, при чем дал честное слово, что приеду один и, конечно, не с целью убить его.

Ответ пришел через несколько дней. Азеф соглашался на встречу. Он будет ждать меня во Франкфурте, в четверг 15 августа. Я немедленно выехал на свидание.

Этого дня мне никогда не забыть... Встретились мы в большом кафэ. Когда я вошел в зал, навстречу мне поднялся человек, в котором я сразу, несмотря на то, что он несколько изменил свою внешность, опознал моего смертельного врага.

Азеф встал, оперся руками о край стола, и первые минуты мы не могли сказать ни слова — только молча смотрели друг другу в глаза... Он пришел на свидание с

мыслью, что я, все-таки, его убью, и потом даже показывал мне заранее приготовленное завещание.

— Никто не знает о моей поездке, — сказал я, наконец. — Я здесь один.

Он сделал видимое усилие и ответил:

— Я тоже.

И тотчас же отвел глаза в сторону. Потом Азеф заговорил, очень медленно, с трудом подыскивая нужные слова:

— Я не хочу умереть, не рассказав правды о моем деле. Я хочу сделать это для детей. Они должны знать, кем был их отец и почему он так действовал...

И потом три дня подряд Азеф рассказывал мне, как из идейного, честного революционера и главы Боевой Организации он превратился в провокатора. Его основная мысль была та, что хотя он действительно и выдавал революционеров, он в то же время продолжал служить революции. Организовал убийство Плеве, вел. кн. Сергея Александровича, покушение на Николая II... Эти заслуги перед партией, по его мнению, искупали предательство.

Эти три дня мы почти не расставались, жили странной, бредовой жизнью, и я узнал от него многое, о чем до сих пор лишь догадывался... Теперь я вспоминаю отдельные моменты нашего свидания. Ехали мы на извозчике, специально, чтобы убедиться, что за нами никто не следит. На одной из улиц наш экипаж налетел на чужой фаэтон... Это были ужасные минуты. Что если бы составили протокол и полиция узнала, что Бурцев катается по городу в обществе Азефа? Помню еще, как мы зашли в ресторан завтракать, — мы почти сутки ничего не ели и страшно проголодались. Я спросил бифштекс, а Азеф заказал лишь блюдо картофеля.

— Что это вы? Почему не мясо?

— Я вегетарианец, — скромно потупившись ответил этот мясник, пославший на виселицу не мало людей.

Это было мое последнее свидание с Азефом. Больше никто из русских революционеров его никогда не ви-

дел. На прощанье я протянул ему руку, — борьба кончилась, — и Азеф, колеблясь, пожал ее... Потом он исчез.

В Париже, прямо с вокзала, я отправился в редакцию «Матэн». Редактор выслушал мой рассказ. Он был ошеломлен. Я написал статью и он взял с меня слово, что никто не будет знать о поездке до следующего утра. Написанная статья лежала на редакторском столе до 2 часов утра: он боялся сдать ее в набор, чтобы сенсация не стала как-нибудь, путем «утечки», известна в других газетах. В два часа статья была набрана и на утро ее передали по телеграфу во все концы мира... Сейчас даже трудно себе представить, какое впечатление она тогда произвела.

**
*

Но и через двадцать лет взволнованный рассказ Бурцева поразил меня своим необыкновенным драматизмом. Я спросил, почему вообще он посвятил всю свою жизнь борьбе с провокацией, и Бурцев сказал, что без этого была немыслима революционная работа.

— При старом режиме был, конечно, не один Азеф, но азефовщиной я занялся, потому что в ней олицетворялась некая определенная система.

После провала революции 1905 года я стал замечать, что ряд крупных эсеровских заговоров, в которые было посвящено лишь небольшое число партийцев, делились известны охранке. Как? Логика говорила, что среди эсеров должен быть предатель. Я начал мысленно перебирать всех их, одного за другим, никого заранее не освобождая от моих подозрений. И вот, постепенно у меня сложилось убеждение, что именно вокруг Азефа, бывшего одним из столпов партии, возникли страшные пропалы.

Больше всего меня поразило, что Азеф, глава Бойской Организации, спокойно прогуливался среди бела дня в Петербурге... Мало по малу, путем ряда выводов, беседуя с известными мне охранниками, я пришел к заключению, что Азеф и есть главный провокатор... Остальное

вам известно: возмущение эсеров, суд над мной, в котором участвовали Крапоткин, Вера Фигнер и Лопатин, и где меня обвиняли Натансон, Савинков и Чернов. Суд продолжался месяц и, в конце концов, мне удалось доказать свою правоту: Азеф бежал.

На этом заканчивается, собственно, рассказ Бурцева. Но несколько дней спустя он вызвал меня в свой отель в квартале Пантеона и подарил мне на память напечатанную на машинке рукопись «Как приходилось разоблачать Азефа. Внизу он написал своим бисерным, мало разборчивым почерком: «Отрывок из неизданных воспоминаний Вл. Бурцева». Не знаю, остались ли эти воспоминания неизданными до конца жизни Владимира Львовича, но рукопись я сохранил, и перед тем, как писать о Бурцеве, вновь перечел ее. Вот отрывок:

«Помню, когда я однажды провожал после заседания суда Веру Фигнер, к которой я питал глубочайшее уважение, и мы шли с ней во время дождя под зонтиком, она, обращаясь ко мне голосом, в котором я слышал и личное доверие ко мне, и безграничную ненависть за то, что я делаю, говорила мне:

— Вы — безумец, вы — слепец! Вы не понимаете, что вы — орудие Департамента Полиции. Вы клевещете на лучшего члена нашей партии, на нашу надежду. Нет человека вреднее вас! Разве вы не понимаете, что когда вам будет ясна ваша ошибка, вам не останется ничего, как только застрелиться!

То, что я должен застрелиться, если бы я увидел, что ошибся, это я слышал от очень многих и никогда не возражал против этого. Наоборот, я сам говорил, что вполне с этим согласен, что если я, действительно, когданибудь приду к мысли, что я ошибаюсь, то я, конечно, застрелюсь.

Однажды ко мне пришла моя хорошая знакомая с. р. Лапина, член «Б. О.». Она стала убеждать меня в том, что я страшно, преступно ошибаюсь и клевещу на Азефа. В конце бесплодного разговора она с негодованием, в

очень резкой форме, прямо сказала мне, что если я когда нибудь приду к заключению, что я ошибался, то я должен буду застрелиться.

На эти слова я ответил ей вопросом:

— Ну, а если вы ошибаетесь?

— Если мы ошибаемся, то всем нам надо перестреляться!

Когда Азеф был разоблачен, она вскоре в Париже застрелилась».

Не трудно представить себе, что пережил Бурцев в эти три недели, пока продолжался разбор его дела. Затем суд прервал свои заседания и именно во время этого перерыва произошло чудо: стало известно, что тайно от своих друзей в это время Азеф съездил в Петербург для получения инструкций от Департамента Полиции. Далее в рукописи Бурцев трогательно и довольно наивно рассказывает, как после этого отношение руководящей группы эсеров к нему изменилось, как его с глазу на глаз обнял Савинков и признал свою ошибку...

**

Много темных и страшных людей можно было встретить в окружении Бурцева.

В неосвещенном коридоре его отеля Владимир Львович вечно шептался с какими то людьми, старательно отворачивавшими свои лица от случайных прохожих. Бурцев торопливо хватал нового пришельца за руку и говорил:

— Пойдите в мою комнату и подождите. Сядьте там на кровать, что ли...

Дело в том, что в крошечной комнатушке Бурцева, напоминавшей тюремную камеру, помещались только колченогий столик, умывальник и кровать, — места для стула не оставалось... Но и на кровать трудно было присесть, — вся она была завалена рукописями, старыми комплектами «Общего Дела», какими то письмами, бу-

магами. В былые времена среди таинственных посетителей Бурцева были кающиеся охранники и провокаторы, желавшие «облегчить душу». Потом их сменили невозвращенцы и матерые чекисты, искавшие работы «по специальности». От них Владимир Львович узнал, между прочим, много подробностей похищения ген. Кутепова, — в частности от бывшего берлинского чекиста Андрея Фихнера, который, по его собственному признанию, лично участвовал в этом преступлении. Между прочим, весь эффект разоблачений Фихнера был сорван корреспонденцией из Берлина, напечатанной в «Возрождении». В корреспонденции шла речь о «товарище Мише», — такова была профессиональная кличка чекиста. Фихнер испугался, бежал в Южную Америку, а затем Бурцев установил, что «корреспонденция из Берлина» была состряпана в Париже сотрудником «Возрождения» и тайным агентом ГПУ Н. Алексеевым со специальной целью, — помешать дальнейшим разоблачениям. Алексееву позже пришлось самому бежать в Испанию, где он бесследно исчез.

Долгое время Бурцев занимался и делом беглого чекиста Агабекова. Этого человека встречал я несколько раз в редакции «Последних Новостей», где он пытался войти в доверие к П. Н. Милюкову. По виду это был «восточный человек», лицо было изъедено крупной оспой и, при разговоре, он постоянно отводил от собеседника глаза, смотрел в сторону. Однажды, когда он очень подробно, для придания себе весу, объяснял, какое ответственное положение занимал в ГПУ, я не выдержал и грубо спросил:

— Ну, а своими руками убивать вам приходилось?

Агабеков помолчал и, нисколько не смущаясь, ответил:

— Это черная работа... Но если нужно убить, и это не противоречит вашим убеждениям, почему не убить?

Вскоре Бурцев через своих агентов установил, что Агабеков успел уже «устроиться по специальности» и, в

частности, осведомляет Сигуранцу — и уже не только о работе Коминтерна и ГПУ за границей, но и об эмигрантских делах. Бурцев разоблачил Агабекова. Если не ошибаюсь, он впоследствии был завлечен в ловушку своими бывшими хозяевами и убит. Страшный это был человек и кончил, можно сказать, естественной для него смертью.

Разделавшись с одним предателем, Бурцев переходил к следующему делу, расследовал, разоблачал. Доводы его не всегда казались убедительными, но ему верили, ибо сам Бурцев был воплощением честности, идейности, — никогда не думал о себе и всегда о деле, которому служил.

**

Бурцев умер в Париже, в годы немецкой оккупации. При гитлеровском режиме он, старый русский революционер и патриот, остался верен себе и своему прошлому. Маленький, сутулый, совсем высохший, с надвинутым на уши порыжевшим котелком, который он носил четверть века подряд, зимой и летом, — старик продолжал неутомимо ходить по опустевшему, запущенному городу, волновался, спорил с пеной у рта и доказывал, что Россия победит, не может не победить...

Смерть Бурцева произошла от заржавленного гвоздя. Дырявая подметка была прикреплена к башмаку гвоздем, от которого произошли ранение и гангрена. Долгое время Бурцев, никогда не заботившийся о самом себе, не обращал внимания на рану и на боль в ноге. Когда его поместили, наконец, в больницу, началось общее заражение крови.

Пока Владимир Львович был в сознании, он перечитывал своего любимого Пушкина и все беспокоился, — кто же, в случае смерти, будет продолжать его дело? Потом сознание его оставило, он начал метаться в бреду, порывался встать и уйти из госпиталя, и один раз даже добрался до двери и упал здесь без чувств... Ди-

ректор госпиталя распорядился привязать умиравшего к койке. В минуты короткого проблеска сознания Бурцев просил развязать его и отпустить...

— Куда? — спросила сиделка.

— Домой! — ответил еле слышно Бурцев.

Русские газеты в Париже в это время не выходили, и смерть Бурцева прошла незамеченной.

А. М. РЕМИЗОВ

РАННЕЕ парижское утро. Звонок у дверей. Кто бы это мог быть, в 7 часов?

Встаю с постели, открываю. Почтальон протягивает «пневматичку». В конверте листок, разрисованный Ремизовым:

«День Св. Африканы, четверг 26 марта. Готовлюсь переплыть Ламанш: съел 5 фунтов мяса и 40 яиц».

Что на это скажешь? Ремизов всю жизнь любил мистифицировать, вечно что-нибудь придумывал. Иногда присыпал мне для «Календаря Писателя» материал о несуществующих поэтах и книгоиздательствах: а вдруг напечатают? Иногда печатали. Пришла однажды невинная по виду заметка: «Переехавшая на постоянное жительство в Париж поэтесса Марина Цветаева становится во главе ежемесячного журнала «Щипцы». Журнал будет посвящен, главным образом, печатанию стихов, но в первом номере появится новая повесть Ф. Степуна «Утопленник».

На следующий день — яростное письмо от Марины Цветаевой, — письмо это до сих пор хранится у меня: никакого журнала «Щипцы» она издавать не собирается, Степун повести «Утопленник» не написал, — все это зловредная шутка, игра с ее именем.

Пришлось ехать к Цветаевой с извинениями. Жила она очень далеко, почти за городом. Сидела в сумерки на диване, много курила, смотрела в окно: туман, темные заводские корпуса, фабричные трубы... Она была совсем молода: шапка золотистых, вьющихся волос, зеленые русалочки глаза и платье, — должно быть подобранное к глазам, тоже зеленое, только тоном темнее.

На Ремизова не сердилась, отошла. Говорила о том, что в современную Россию не вернется — никогда. И вернулась: для того, чтобы повеситься на водосточной трубе.

На прощанье сказала:

— Знаете, что я больше всего люблю в Париже? Старух. На нашей улице есть удивительные старухи, в теплых, вязаных пелеринах. Хорошие, древние старухи.

Рукопожатье ее было крепкое, почти мужское. Засмеялась:

— Это меня Макс Волошин научил, так крепко руку пожимать. Я до Макса подавала руку как-то безразлично — механически, сбоку... Он сказал: «Почему Вы руку подаете так, словно подбрасываете мертвого младенца?» Я возмутилась. Он сказал, что нужно прижимать ладонь к ладони, крепко, потому что ладонь — жизнь. Вы знали Макса. Вот Вам привет от него — рукопожатие...

На обратном пути побывал я у Ремизова, — он все же немного беспокоился. Узнав, что гроза прошла, Алексей Михайлович просиял, — лицо его от улыбки становилось необыкновенно добрым, — и начал привычным жестом приглаживать на голове два непокорных пучка волос. Были они похожи на рожки чертена.

Жил он в это время на рю Буало, № 7. Дом и его обитателей тщательно и неутомимо описывал в своих книгах. На дверях квартиры, к великому негодованию консьержки, привесил обезьяний хвостик. К хвостику было привязано одно су с дырочкой. Обезьяну звали «Медведкина».

— Пусть себе висит, счастье приносит, — говорил улыбаясь Ремизов. — И мне удобно: как увижу хвостик, так и знаю, моя квартира, и уж тогда не ошибусь.

Как то хвостик сорвали, — мальчишки, а может быть и человек, доставлявший молоко. Ремизов погоревал, потом раздобыл новый и снова повесил. И после обстоятельно описывал в газете, какая беда его постигла.

Хвост этот, по существу, был неким символом в жизни Ремизова, это была та граница, за которой об-

рывался реальный мир и начиналось некое театральное действие, которое так любил Алексей Михайлович, и которое постепенно стало его второй натурой. Возьму для иллюстрации случай, который описывает в своей книге о Ремизове Наталья Кодрянская.* Ремизову нужно было пойти в полицейскую префектуру и подать прошение о возобновлении «карт д-идантитэ», — права на жительство в Париже. «В то время в префектуре приходилось простоявать в очереди часами, иногда и по два дня. Когда Алексей Михайлович собрался пойти, было очень холодно, и он оделся не совсем обычно: поверх пальто закутался в длинную красную женскую шаль, перевязав ее на груди, как это делают бабы, крест на крест; на голову надел еще вывезенную из России странной формы высокую суконную шапку, опущенную мехом. Сгорбленный, маленький, в очках, с лохматыми, торчащими вверх бровями, в невероятно больших калошах, зашагал в префектуру. В руках нес прошение, расписанное им самим и разукрашенное разными заставками и закорючками: без сомнения, самый удивительный документ, когда либо поданный в парижскую префектуру.

При виде такого необычайного посетителя ряды разомкнулись и Ремизов без задержки прошел в здание. Чиновники, конечно, тоже сразу обратили внимание на него и на его прошение, один подозрив его вне очереди. Алексей Михайлович потом, посмеиваясь, рассказывал: «Чиновник оказался большим любителем «каллиграфии» и пришел в восторг от моего прошения». Оно обошло всю префектуру, и Алексей Михайлович тут же, без проволочки, получил свое удостоверение, что обычно так легко не делалось».

**

Жили мы в Париже по соседству. Он на Рю Буало, а я сейчас же за церковью Микель Анж, — по ремизовски

* Наталья Кодрянская «Алексей Ремизов», Париж.

Михаила Архангела. Минута-две ходьбы. В квартире Ремизова с незапамятных времен помещалась Обезьяня Великая и Вольная Палата — в сокращении Обезволовпал, пожизненным президентом и великим мастером которой состоял Алексей Михайлович... Есть у меня великолепный диплом в две краски, написанный знаменитой ремизовской вязью с закорючками и выкрутасами: жалуется сия обезьяня грамота, весенний именинный ярлык Андрею Седых в знак введения его в кавалеры обезьяньего знака 1-ой степени с каштановым цветком. И на грамоте расписался собственноручно царь обезьянний Асыка, а скрепил канцелярист Обезволовпала Алексей Ремизов.

Это был единственный орден, полученный мной в жизни.

Иногда я приходил к Ремизову поглядеть, как он живет, поговорить о книгах. Президент Великой и Вольной Палаты неизменно сидел за столом в вязаной бабьей кацавейке, поверх которой он надевал еще разные «шкурки». На голове — вышитая золотом татарская тибетейка, на ногах — плед, — ему всегда было очень холодно. Смотрел внимательно через толстые стекла очков, приглаживая на голове рожки, пучечки черных волос.

Жил он и работал в «кукушкиной» комнате, названной так потому, что на стене висели часы с кукушкой, а чай мы ходили пить на кухню. Здесь восседала грузная, приветливая жена писателя, Серафима Павловна. Лицо у нее было какое-то кукольное. Собирала несложное угощение, разливала по стаканам крутой кипяток.

Чего только не было в «кукушкиной»! Стены — в книжных полках, а под потолком болтались на веревочках всякие ремизовские талисманы, «гишпенсты» — черти, травы, рыбьи кости, летучие мыши. На столе сидел подземный цверг, по русски Огневик («добрый он, нос ведь колбаской!»). На подушке Коловертыш,

лежит днем на кровати, вместо меня,
тепло сохраняет — бородка какая-то!

И еще на нитках — сушеные травы, весна прошлогодня, оберегающие от несчастья кости, змейки, божки — вся Великая и Вольная Палата.

Дни и долгие ночи проводил Ремизов за своим столом. Много читал. Писал и рисовал, низко согнувшись над бумагой, — так в конце концов нажил себе настоящий горб. Время от времени отрывался от бумаг, поглядывал на своих животных: все ли на местах? Животные мирно болтались на нитях, покачивались потихоньку, и Ремизов был счастлив. Или только притворялся, — был он не без хитрецы и так, до конца, и остался — неразгаданный.

Пока не потерял зрение, любил выходить. Прогуливался обычно по рю д-Отэй, доходил до лавки Суханова, — это был парижский вариант Елисеева для обедневших эмигрантов. Там иногда встречал Куприна, который забегал выпить рюмку водки и закусить слоеным пирожком, — хозяин лавки «приветствовал» русскую литературу... Или, завернувшись в самые живописные свои кацавейки, отправлялся в редакцию «Последних Новостей» получить гонорар или узнать, — почему не печатают? Печатали его мало. Милюков не любил литературные чудачества Ремизова, а коммерческий директор Н. К. Волков пользовался этим и за напечатанное размечал пониженный гонорар, не по тарифу беллетристики... Однажды, получив деньги, мы спустились в кафэ к Дюпону. Алексей Михайлович робко сидел за мраморным столиком, грел на бокале с горячим кофе свои озябшие руки и тихонько жаловался:

— Это ведь правда: меня не читают. И печатают только потому, что фамилия известная, — для коллекции. А читать — нет! И так уж повелось, меня всю жизнь люди не признавали. И когда вхожу в редакцию, чувствую: «Опять, думают, пришел!»

Иногда он присыпал мне письма на цветной бумаге.

На каждое письмо уходил добрый час, — оно не писалось, а расписывалось. Титульные буквы были всегда замысловатые, выводились они цветными чернилами, а дальше писал черной вязью. Сбоку рисовал картинку, некое подобие ящура, или самого себя в очках с хвостиком, или уж на худой конец приклеивал полоску серебряной бумаги для красоты. И подпись была замысловатая, ажурной работы, размашистая, тоже разноцветными чернилами.

А сколько времени уходило на заготовку конверта! Ведь нельзя же президенту Великой и Вольной по-просту заклеить его. Нет, тут из старого прейскуранта выискивал он какой-нибудь герб немецкого княжества, с башнями, щитами и королевскими лилиями. Гербом запечатывал конверт и к нему прибавлял для оживления полоску золоченой елочной бумаги. И только тогда письмо считалось законченным. Ремизов надевал галоши, зачутывался в шаль потеплее и отправлялся в дальний путь, на почту. Почтовым ящикам на углах улиц не доверял: а вдруг забудут и не вынут?

И, выходя из дома, вешал на никогда не запиравшихся дверях бумажку с надписью:

— Выхожу один я на дорогу.

Писал он мне в Париже очень часто. Был чувствителен ко всякому проявлению внимания, за книги благодарил и присыпал свои, с необычными автографами, разрисованными во всю страницу:

— Дорогому Андрею Седых. Ваш «Пушка» мне снился. Видеть во сне Пушку — друга.

Или:

— Вам на елку.

И нарисована елка, на ней чертяки, а внизу — семья мышек.

На «Оле» сделал надпись: «Очень меня растрогали вашим письмом о инвалидах: как о себе читал вашу простую повесть».

На книге «Три серпа»: «На зеленую Русальную неделю».

В Америке, в самые последние годы жизни Алексея Михайловича, получил я от него «Огонь вещей». На титульном листе он надписал: «Не для чтения, а как память с «Последних Новостей» до сухановской семги-пятикусковой».

Последнюю книгу прислал он в июне 57 года и надпись сделал собственноручно, хотя уже совсем к этому времени ослеп. Рука дрожала, выводила на бумаге какие-то непонятные иероглифы. Очень трудно эту надпись разобрать, слова громоздятся одно на другое. Кажется, автограф следует расшифровать так: «Книга — единственное, чем могу выразить мои чувства любви и благодарности».

Повторяю: жизнь не баловала Ремизова и поэтому всякое проявление внимания он ценил. Еще в 40 году, узнав о болезни Серафимы Павловны, я послал ей небольшой подарок. На следующий день пришло от Ремизова письмо:

«Очень меня тронули вашей памятью. Спасибо.

Ваша память пробудила мою старую память и чувство, какое однажды всколыхнуло мою душу.

Выписывая из «Взвихренной Руси»: «на углу 14-ой линии». Так во мне сказалось и теперь:

«...на углу Большого проспекта и 14-ой линии стоит женщина. Одета она прилично, т. е. все что можно зашить и подштопать, все сделано. И не такая она старая, не развалина, только лицо, как налитое, без кровинки. Она не просит словами, она чуть кланяется и смотрит — и ей всегда подают.

В самый тискучий тиск и последний загон — много о ту пору мудровал человек над человеком! — когда, кажется, ну ничего не подскребсти, все использовано, и за-валящего не может быть, я видел — подают!

А кое кто еще и остановится, женщины больше: остановятся, поговорят с ней должно-быть, в угол, где она на ночь-то ютится, туда в этот ее ледник приносят ей, ну, что можно, что в силах человек сделать, когда у себя нет ничего.

И на лице у нее, как луч, светится.

И когда я это вижу, я уж иду на пятках — мне все страшно: вот я что-то спугну, помешаю чему-то, как нибудь своим ходом нарушу, задую — свет».

Очень вам благодарен. Алексей Ремизов».

**

В двадцатых годах Союз Писателей и журналистов устраивал в Париже ежегодный бал в отеле «Лютеция». Встречались на этих балах люди разные, но самым удивительным было однажды появление Ремизова. Я убежден, что на балу он оказался в первый раз в жизни. Сунулся, было, в толпу танцующих, но сейчас же бросился обратно. Потом забился в уголок и все время дрожал — не толкнули бы, избави Бог! Так и простоял весь вечер, удивленно поблескивая огромными американскими очками.

Был он уже тогда маленьким и сгорбленным, говорил тихим голосом, иногда переходящим в шепот, всего людского боялся. И пока мы стояли в углу он рассказал, что не танцует, а очень хотел бы научиться. Трудно только.

— Я, ведь, знаете, даже гимнастику начал делать. Полезная вещь, гирями работаю — и ведь ничего, представьте, — выходит! Как-нибудь так и снимусь, со штангой в руке. И потом, могу на трапеции: подымаюсь на мускулах, а там уже пяткой могу зацепиться и колесом, по обезьяньи, — очень мне это нравится...

Говорил и тихонько улыбался, какой-то детской, счастливой улыбкой. Оба мы знали: этакий вздор! Да он и к гирям попросту побоится близко подойти, а где-то в подсознании хочет быть сильным гимнастом, вертеться на турнике, делать «колесо»... Чего только в эти годы не придумывал Ремизов! Были у него излюбленные персонажи, о которых он особенно охотно писал: «Яша Шрейбер», или «африканский доктор», — субъект приурковатый, всегда что-то монотонно бубнивший. Са-

мое замечательное это то, что человек этот действительно по образованию был доктор, служил где-то в Африке и там на балу у губернатора, в пьяном виде, сел на пол и сделал непристойность. Из Африки его за это выслали, он оказался в Париже и привязался к Ремизову, служил ему чем-то вроде обезьяньего хвоста. В конце концов привязанность перешла в трогательную дружбу. Когда Алексей Михайлович совсем ослеп, «африканский доктор» стал его поводырем.

**

Особенно запомнилась одна наша встреча, весной 1940 года.

Ярким солнечным днем прилетели немецкие самолеты. Сбросили над Парижем бомбы и больше всего попало в наш квартал Отэй. Это была первая бомбардировка Парижа.

Когда сирены дали отбой и тревога кончилась, все высыпали на улицы. У самой нашей церкви бомба вырыла глубокую воронку, пробила туннель метро и взорвалась уже под землей. Когда произошел взрыв, церковь над головами сидевших в подвале зашаталась, как карточный домик. Женщины громко заплакали и на несколько секунд стало страшно, — вот, сейчас, каменные своды обрушатся и будет конец... По соседству, на Версальском авеню, была срезана половина высокого дома, и под развалинами остались люди. И пока я смотрел, как выносят убитых и раненых, кто-то сказал, что другой снаряд попал в дом на улице Буало. В этом доме жил Ремизов.

Я знал, что из-за болезни Серафимы Павловны во время участившихся бомбардировок они никогда не спускаются в убежище и остаются в своей квартире. «Алексей Михайлович улыбаясь, утверждал, рассказывает Н. Кодрянская, что ему гораздо приятнее оставаться в квартире, так как вой сирены ему нравится: будто на пароходе. Серафима Павловна только благодарно улыбалась в ответ. Так они не сошли в погреб в тот день,

когда Париж подвергся бомбардировке, и оба были ранены осколками оконных стекол».

Алексея Михайловича я нашел в «кукушкиной». Голова его была перевязана какой-то тряпицей. Был он контужен и слегка порезан осколками стекла. В соседней комнате лежала Серафима Павловна, — видел я ее в последний раз в жизни, так как вскоре после этого она умерла... Ремизов рассказывал, как все произошло: вдруг ударит, все посыпалось, — а мы на ощупь — живы! И рассказывал так, словно просил прощения за произшедшее, а в робких его глазах застыл ужас. Таким навсегда я его и запомнил.

**
*

В Америку письма от него приходили редко, да самый тон и внешний вид ремизовских посланий изменился с годами. Все еще титлы и закорючки, но уже не московская скоропись 16 столетия, рисунки исчезли и строчки ползли куда-то вбок: Ремизов стал слепнуть.

Письмо 47 года:

«Спасибо и за письмо и за слово — память.

Четыре года будет (13 мая), как после смерти Серафимы Павловны живу в затворе: в оккупацию совсем потерял глаза, а с белой палкой далеко не уйдешь. Это очень затрудняет (осложняет) все мои дела: приходится все просить и даже о пустяках — по редакциям уж не могу ходить, до Суханова не дойти, улицу ведь надо переходить.

Писать, как видите, пишу с закорючками, но едва разбираю написанное. Мука мне со своими черновиками, другой раз терпенья нет, заново пишу. Да, пора, на Ивана Купалу (4 июня), семьдесят лет, насмотрелся я на Божий мир.

Живу один, грозят выгнать.

У нас ведь «уплотнения». Да куда мне идти!

С моим советским паспортом я переписываюсь с Россией. И первое, что узнал: смерть нашей дочери.

О издании моих книг пока не может быть и речи: очень мудренно мое, а по иному писать не могу.

Кланяюсь вашей жене: Серафима Павловна ее так любила.

Еще раз спасибо за память».

По привычке за подпись нарисовал какой-то мудреныи значок и пояснил: «Это моя обезьянья тамга».

Всякий раз, приезжая в Париж после второй войны, я навещал Ремизова. Он даже не старел, как другие писатели его поколения, а как-то дряхлел, вростал в землю, — тот ужас, который я впервые увидел в его глазах в день бомбардировки, навсегда в них остался. Теперь он совсем походил на старого сказочного гнома, как то особенно горбился и уж совсем ничего не видел, только различал неясные контуры. Изредка появлялся «африканский доктор» и выводил его на прогулку. Сердобольные русские дамы (он называл их «утятами») заходили прибрать немного квартиру, накормить и почтать вслух... Грустная была это жизнь, но Ремизов не сдавался и никогда не сидел сложа руки: вел дневник, поддерживал переписку с друзьями, записывал удивительные свои сны.

Весной 52 года я напечатал в «Новом Русском Слове» статью о ремизовском «Обезволпале». Сейчас же А. М. откликнулся:

«Спасибо за память: вспомнили Обезволпал.

Открыта 45 лет тому назад в Москве. Сколько великих прошло через эту виноградную Палату, а я остаюсь несменяемым канцеляристом, теперь заштатный, так под грамотами и подписываюсь.

Обезьяны грамоты вносили и в самую темь нашей жизни только веселость и никто никогда не оскалился схватить меня себе на зуб.

Потому и Вы с улыбкой вспомнили меня. И «Повара» — мою «живую жизнь» почувствовали.

Н. Р. С. что вы послали получил, спасибо. Поклон вашей жене — певунье. Жду вас, авось застанете меня в здравом уме и сердцем открытым к слову. Живу по-

прежнему на рю Буало среди книг и в словесных затеях. Только что вернулся из путешествия к берегу Ледовитого Океана от камчадалов.

Алексей Ремизов».

Весной 53 года я побывал у него. Все в квартире на рю Буало выглядело теперь более запущенным, серым. Потускнели даже бумажные чертяки и абстрактные конструкции из серебряных бумажек. На стене в передней все еще были развесаны записочки, которыми пользовался Ремизов, выходя из дома. Старинной вязью, разноцветными чернилами, на бумажках было выведено:

- Ушел на полчаса.
- Сижу на пятом этаже.
- Пошел в магазин за молоком.

Но записочками этими он уже почти никогда не пользовался, выходил очень редко, а больше сидел в «кукушкой» и, несмотря на летнюю жару, был в своих «шкурках», — очень стал зябнуть.

— Окончательно ослеп, первым делом сообщил он мне шепотом. Вижу только последнюю строчку, а прочесть написанное не могу. А все же, — вот смотрите!

Встал, добрался до полки со своими сокровищами: толстыми папками с рукописями, приготовленными к печати и с альбомами, — он отлично рисовал и любил не только записывать, но и зарисовывать свои сны. А снилось ему не только повседневное, — иногда беседовал во сне с Пушкиным, видел Гоголя, Достоевского, Льва Шестова, а то вдруг — всякая нечисть. Вот один его сон:

«И я увидел: Пушкин.

И совсем то он на себя не похож, ни на один портрет: курносый. А около на столике кофий.

«Спасите, говорит он и показывает, пять невест».

И в моих глазах пять красных языков.

«И всех разобрали», говорит Пушкин и читает: немецкий, французский, английский...

И я понимаю, что теперешний Пушкин профессор языковедения и спасать его не от чего — без языка нет речи».*

— Издал я за долгую свою жизнь 88 книг, а вот еще — сколько! с гордостью говорил Ремизов, осторожно проводя руками слепого по корешкам папок. Это бумажное наваждение объясняю не моей граffоманией, а перерывом в 18 лет моего книжного существования. 18 лет не мог найти издателя. Последняя моя книга «Образ Николая Чудотворца» в 1931 году, и только в 1949 — «Пляшущий Демон». За эти 18 лет я сделал 400 рукописных альбомов, в них больше 4.000 картинок. А сколько обезьяиных грамот, подписанных собственнохвостно обезьяиным царем Асыкой!

Пауза. Приблизился и совсем уже заговорщицким шепотом:

— Вы кавалер Обезьяньего Знака 1-ой степени Обезволовала, Обезьяней Великой и Вольной Палаты. Вы храните, а много ли осталось, кто еще помнит?! В России была грамота у Анатолия Федоровича Кони, у Горького, а здесь у Наталии Владимировны и Исаака Вениаминовича Кодрянских. Новых по слепоте не написать.

Мы еще поговорили и я стал собираться. И Алексей Михайлович на прощанье:

— Жаль, что Вы так кратко. И чаем я вас не мог напоить особенной, московской заварки. Вы сейчас в дальний путь, а я напишу вам в Нью Иорк.

**
*

Он написал.

«Вы меня очень обрадовали вашей памятью. Я помню вас мальчиком, начинающим, а теперь вы книги имеете, неделю, как получил от вас «Шарманщика». Первый забеглый Утенок прочтет мне вашу книгу. Мне любопытно послушать мелодию шарманки и какими сло-

* Алексей Ремизов «Мартын Задека», Сонник, Париж 1954 г.

вами выговаривает (шарманит). Картинку с обложки перенесли в текст, а я не догадался перенести своих ведьм, оборвут. И семгу принесли, дорогое кушанье, но что для меня неожиданно — вы в дорогу! Я вам успел только рассказать о моем поводыре (ему бы по городам медведей водить) африканском докторе, как 40 километров летел и очутился в Руане, — такая сила автомобильного крыла!»

Тут я вспомнил рассказ его:

— Африканский доктор водит меня под руку. Только условие, — через дорогу он переводить не должен, в пьяном виде под автомобиль попадет, и меня убьет. Было с ним так: африканский доктор готовился к своим именинам и уже накануне начал пить, с самого утра. А замечавшись на улице попал вдруг на крыло грузовика. Его подняло и пролетел он сорок километров и пришел в себя только в Руане. А оттуда полицейский отправил его по месту жительства — в госпиталь Бусико.

И Ремизов с гордостью повторял:

— Экая силища. Сорок километров пролетел!

Не помню точно, в какой это было приезд, кажется в 49 году, Ремизова привели на один из «четвергов» к Буниным. Узнавал он людей по звуку голоса, но Бунин даже в слепоту Ремизова не верил и как то особенно на-смешливо и бодро в этот вечер говорил:

— Это он притворяется. Старики это любят — немного прибедниться.

И, обращаясь к Ремизову:

— Дедушка, а дедушка! Прочтите нам «Сказку о рыбаке и рыбке»!

Ремизов встал, поднял кверху клочки своих густых бровей и начал объяснять, что голос у него слабый и глухой, а комната — как пробка, и читать ему трудно.

— Не притворяйся, дедушка, читай! закричал Бунин.

И певуче, нараспев, с особыми ударениями, Алексей Михайлович начал читать пушкинскую сказку. Замечательная у него была манера чтения: каждое слово свер-

кало и была в голосе какая то внутренняя, едва заметная ирония. Между прочим, Ф. Степун правильно говорил, что Ремизова самого нужно читать только вслух, очень медленно. При обычном торопливом чтении вся прелест ремизовской прозы, узорный подбор его слов, особая конструкция фразы, — все это теряется для читателя.

**

Ремизову предлагали вернуться в Россию. Отказался: куда же ехать, когда свою собственную улицу в Отэй страшно перейти, а вдруг — автомобиль?

Вскоре после окончания войны, когда в советском посольстве на рю де Гренельль появились, — не на долго, — многие видные эмигранты, Богомолов пригласил к себе и Ремизова.

Ремизов пришел. Была зима и он надел теплую куртку, сверху еще что-то и вырядился в белые башмаки, — не то по бедности, не то белые башмаки должны были сыграть роль елочной, серебряной бумаги, которой украшал свою жизнь Алексей Михайлович.

Вышли Богомолов и Молотов. Полпред поздоровался и, не зная, как начать разговор, спросил:

— Ну, как поживаете, Алексей Михайлович?

И Ремизов, подняв кверху свои круглые очки, певуче ответил:

— Благодарю. Хорошо. Только вот что то мышки мои стали пошаливать. Беспокоят меня.

Богомолов немного испугался.

— Как, мыши? Разве у вас в квартире есть мыши?

— Есть, покорно сказал Ремизов. Висят под потолком на ниточке.

Богомолов, видимо, не знал о ремизовском зверинце и замолчал. На этом беседа на политические темы закончилась и в Россию Алексей Михайлович не поехал. А позже друзьям жаловался:

— Посадили меня и на все вопросы я ответил. А раз-

говаривать сам не мог. Все расплывалось, в глазах рябило и скакали лягушки.

**

Мало кто понимал и любил ремизовские писания. В них раздражала стилистическая вычурность писателя, некоторая даже, не всегда понятная абстрактность, внутреннее издевательство, чрезмерное пристрастие к описанию всяких «африканских докторов», неправдоподобность снов, бесконечная чертовщина, которую позаимствовал Ремизов у Гоголя и которую возвел он в некий литературный и даже житейский стиль.

О том, что его мало кто читает, он знал, и говорил с горечью, что кончает жизнь «в кругу незамеченных»:

— Работаю, стиснув зубы. Говорят — пишу не понятно. А я не могу снижаться до понимания людей, которые не дают себе труда подумать над тем, что читают... Да и кто читает? Вот, французы признают меня, переводят, а русские — нет.

В словах его была настоящая печаль, но не все спрашивали. Ремизова не только читали, по Ремизову многие учились. Он оказал большое влияние на Замятину, Пильняка, Шишкова, Пришвина, Пастернака и на многих других современных писателей. И это понятно, — за всей косноязычностью Ремизова были у него особые, редчайшие слова, давно забытые людьми, выискаанные в древних московских рукописях, и слова эти у Ремизова оживали, загорались новым, удивительным блеском. Никто так не писал сказок и не умел рассказывать и толковать сны, как А. М., — недаром его книга сновидений названа «Мартын Задека». Был Ремизов быть может наиболее русским из всех русских писателей: в каждой его строке чувствуется особенная, «Взвихренная Русь», рождались у него образы необычайной красоты, яркие словесные молнии бороздили небо. Жаль, — за всеми его чудачествами и даже юродствами многие не доглядели большого писателя... И была у Ремизова огромная любовь и жалость к человеку. А его самого не всегда жалели.

**

Он умирал долго и мучительно. Это подробно описано в замечательной книге Н. Кодрянской, без которой не обойтись, если изучаешь Ремизова. Смерти А. М. не боялся.

— Я вижу переход — я верю — тут это и конец нашей жизни, — говорил он.

Пока были силы, Ремизов кое как сам вел записи и дневник, но многое из записанного в последнее время разобрать нельзя: строчки сливались, он писал иногда одну фразу над другой. Потом стал диктовать «утенкам». Записи эти открывают подлинного Ремизова. Если могло быть сомнение в его искренности, если ремизовские усмешки и литературные причуды заставляли людей недоверчиво относиться к его писаниям, чтение последних записей доказывает, что Ремизов именно такой: очень странный и сложный человек, смотревший в глубину вещей, и в жизни которого правда всегда переплеталась с фантастикой. Если предположить, что однажды он придумал для себя маску и играл роль, то с годами маска эта стала настоящим его лицом. Ибо трудно представить себе, чтобы перед лицом смерти, в период тягчайших душевных испытаний и страданий, человек мог продолжать играть какую-то роль. Прочтите потрясающее описание смерти Серафимы Павловны в «Розовом Блеске» Ремизова, и это страшное смешение большого человеческого горя, любви, покорности судьбе и собственной растерянности с его бредовым путешествием по Парижу, на подобие колдуна из гоголевской «Страшной мести», с тоской в глазах, «запутанных паутиной»... В такие минуты роль не играют, не подыскивают оригинальные, образные выражения. Человек лежит в темной комнате и думает словами вечными:

— Что есть срок человеческой жизни, люди, звери, рыбы и птицы? Люди, звери, рыбы и птицы, всем нам и каждому отведен свой век и отпущена своя доля: од-

ним на счастье, другим, как мне, на горькое счастье, а третьим на радость...

И тут же — беседа с Достоевским, и сон: художник Анненков, в руках зеленая папка, рисунки к «Ревизору»... Потом лицо Рылеева, и Михаил Струве в валенках, и «черненький зверек на кривых ногах»... Нет, этого не придумаешь.. Это Ремизов.

В «Розовом Блеске» есть одно страшное место. В церкви, на отпевании, кто то подошел к нему и сказал, как приговор, одно слово:

— Несчастный!

«И я глубоко затаил в себе это слово, как Раскольников свое «убивец»..»

**
*

Последние записи его, приведенные в книге Кодрянской, были глубокие и важные. Свет вокруг погас, он ничего не видел, не мог читать или писать и только — думал:

— ...Надо сойти с ума, чтобы поумнеть. Отойти от навязчивости определений — взглянуть на мир другими глазами.

— ...Много думал о слове: как то не так понимают, когда заводят речь о словесном «хитросплетении». Забывают, что слово — живое существо, а не побрякушка и свинцовый типографский набор.

— ...«Надо терпеть» — с этого начинается день. Терпеть со стиснутыми зубами. Чувствую, надо как-то не так, надо согласиться на терпение. Принять свою долю. Возможно ли достичь такого состояния духа? спрашиваю себя. Но во имя чего? Надо терпеть, сознавая, как возмездие — «я заслужил», я должен «отрудить».

— ...Меня надо распружинить, так я крепко закручен. До чего я дотерпелся — и сам себя пугаю — самопуг — задену пепельницу и на звяк — отвечу вздрогом. Чувствую, что все кончено без надежды на возврат прошлого, такого жгучего.

А своими недугами я погружаюсь в темное рабство.

И все-таки искра жизни — мои желания не угасли. Вот и сейчас, как бы я ожил, слушая чтение.

— ...1 января 1957. Новогодний сон. Я проснулся и протянул руку к часам, а часов нет. Кто-то прокрался ко мне и стянул часы. Меня поразило безвременье.

— ...Напор затей, а осуществить не могу — глаза! Сегодня весь день мысленно писал, а записать не мог! Записывается быстро — а никто ничего не поймет!

— ...Я не знаю своего последнего дня, но что это последние дни — я знаю. От слабости не смотрю на свет. Только чтение выводит меня в жизнь. Не поднимаясь писал, вспоминая наш прощальный вечер. Весь день так легко выговаривались слова — пишу в воздухе — и вдруг понял, не будет восстановлено — невозможно.

— Ну, запишите, Гоголь, сегодня весна, мне письмо...

На этой записи дневник оборвался.

Ф. И. ШАЛЯПИН

В ЖИЗНИ знал я только одного подлинного гения. Это был Шаляпин. Всем щедро наградил его Господь: голосом — единственным в мире, по силе и красоте, внешностью необыкновенною, умом острым, талантами разнообразными. Стал он первым в мире певцом и великим актером, — ведь трудно сказать, что в «Борисе Годунове» больше волновало, — пение или игра Шаляпина? Богата Россия талантами, но скольким из них удается развиться и не заглохнуть, в полной безвестности? А вот Шаляпин не погиб. Поднялся с самых народных низов, пришел из Сукионной Слободки, чтобы дать миру, по выражению Стасова, «радость безмерную».

Впервые услышал я Шаляпина в Париже. Было это в 23 или в 24 году. Шаляпин только недавно выехал из России и дал свой концерт в Большой Опере.

На эстраду, как то по особенному закинув голову, вышел радостно и уже победоносно улыбавшийся гигант и зал грохнул от рукоплесканий, словно поднялся навстречу певцу мощный океанский вал... Все в нем было как-то празднично и необычайно: крупная, красивая фигура, бледное лицо, высоко зачесанный кок светло-золотистых волос, белесоватые ресницы, резко вычерченные и слегка трепещущие ноздри. Запомнились почему то особенно ладно сидевший на нем фрак и золотая лорнетка на широкой черной ленте. Он поднес лорнет к глазам, мельком заглянул в программу, лежавшую на рояле, и запел первый романс, слегка прикрыв глаза... Голос его в эти годы был еще молодым, сильным, — это был даже не голос, а какой-то удивительный ин-

струмент, при помощи которого артист умел передавать тончайшие душевные переживания:

О, где же вы, дни любви,
Сладкие сны, юные грэзы весны?
Где шум лесов, пение птиц,
Где цвет полей, свет луны, блеск зарниц?

И столько грусти и тоски было в эту минуту в его голосе, так печально звучала «Элегия», что слезы сами собой навертывались на глаза и нельзя было поверить, что этот же самый артист будет петь «Воротился ночью мельник» и изображать подвыпившего мужичка и его сварливую женку, что к концу первого отделения он перевоплотится в старика-grenадера, идущего из русского плена, и как грозно, как величественно будут звучать заключительные аккорды «Марсельезы»! Много пел в этот вечер Шаляпин. И «Ночку», такую простую, задушевную народную песнь, и страшную, сатанинскую свою «Блоху», и «Как король шел на войну». Сколько жалости и нежности вкладывал Шаляпин в строфы о бедном Стасе, над которым шумит и колосится рожь... Вышел я из Оперы как пьяный и потом долго шел пешком, через весь ночной Париж, к далекому студенческому кварталу, и все не мог совладать с охватившим меня волнением.

Несколько лет спустя я пришел к Шаляпину по газетному делу, в его громадную квартиру на авеню Д-Эйло, неподалеку от Трокадеро. Слуга ввел меня в кабинет, где над камином висел кустодиевский портрет Шаляпина во весь рост, в шубе нараспашку, на фоне ярмарки. Кабинет был уставлен тяжелыми старинными креслами, обитыми гобеленами, — на креслах этих были набросаны французские и английские газеты. На стенах было много картин, стояли витрины с какими-то кубками, статуэтками, шкатулками, — я тогда еще не знал о страсти Федора Ивановича к приобретению антикварных вещей. И тут же в кабинете стояли два громадных дорожных сундука с пароходными и отельными на-

клейками, — Шаляпин только что вернулся из Лондона и не успел распаковаться.

Но рассматривать долго не пришлось. В комнату мягкими шагами вошел певец с улыбкой радушной, почти радостной — тут я почувствовал, что он играет не только на сцене, но и в жизни. Видел он меня впервые, был я молод, ни в какой степени интересовать его не мог, но раз пришел из газеты журналист, нужно было играть роль человека осчастливленного и польщенного вниманием представителя «Пятой Державы». И, запахнув полы шелкового халата белой, холеной рукой с крупными перстнями на пальцах, Федор Иванович сказал мелодично, почти пропел:

— Добро пожаловать...

Теперь, вблизи, его можно было хорошо рассмотреть. Все в нем было крупное, даже величавое. Высокий, открытый лоб, глаза светлые, серо-голубые, кожа на лице слегка розовела и каждый мускул играл, — выражение лица его непрерывно менялось. Движения были свободные, гармоничные. Несмотря на утренний час, халат, шарф на шее и комнатные лакированные туфли, от всей его фигуры веяло какой-то естественной элегантностью.

После первых приветственных фраз Шаляпин быстро разволновался, а потом и разгневался. Я принес не приятное известие: «Всерабис» лишил его звания народного артиста. Федор Иванович только недоуменно развел руками, но глаза его в то же время побелели от гнева:

— Что же мне делать? — спросил он. — Стало быть Шаляпин — не народный артист? А кому же Шаляпин пел, как не народу? Лошадям, что ли? Паспорта меня лишат? Ну, а кровь то подменить нельзя, кровь у меня русская. Паспорт — что! Не только паспорт отобрать, но и одежду с меня снять можно... Снимали. В России я пять лет пел за сахар и муку.

Федор Иванович немного помолчал и затем рассказал, из за чего возник весь шум, поднятый «Всерабисом». Приехав в Париж, Шаляпин пригласил священни-

ка отслужить молебен в недавно приобретенном доме. В церковной ограде на рю Дарю увидел он много бедных людей. Дети, бывшие с ними, выглядели как-то особенно несчастно. И вот Шаляпин, которого все, кому было не лень, упрекали в скупости и в жадности к деньгам, передал священнику для детей 5.000 франков.

— Я не спрашивал, к какой партии эти дети принадлежат. Я знал, что они голодны и хотел их накормить. Если человек голоден, я готов накормить его. Если это преступление, — я виновен перед господами из «Всерабиса».

Расхаживая по комнате он продолжал говорить:

— Я понимаю это так: мне завидуют и стараются как нибудь укнуть. Удивительные эти русские люди! То на руках носят, то готовы в лицо плюнуть. Вот, недавно, подходит ко мне в ресторане субъект сильно под градусом.

— Федор Иваныч! Обожаю... Вы единственный... Позвольте от полноты чувства вас поцеловать.

Смотрю на субъекта, а у него, извините, в усах сопли... Не хочу я с соплявым человеком целоваться. Я женщина теперь мало целую. А тут, вот, чего не доставало! Тип постоял, посмотрел на меня, отошел, пошатываясь и говорит: «Шаляпин, зазнался сволочь!» Так и «Всерабис». Шаляпин не хочет в Россию ехать, — значит надо ему в лицо плюнуть.

Скажите мне на милость, почему это русские люди так любят заниматься политикой? Вот в России теперь почему то обязательно надо быть коммунистом, а я не коммунист, от политики устал, никогда она меня не интересовала и люблю я только пение. Да ведь и пением не давали мне заниматься там спокойно всякие «Всерабисы».

И Шаляпин сказал мне фразу, которую я тут же записал, и которую, конечно, никогда не воспроизведут его официальные советские биографы, всячески старающиеся доказать, что великий русский артист стремил-

ся вернуться на Родину, но что его не пускало туда «алчное его окружение»:

— В Россию я не вернусь. Довольно. Мне в России «морду горчицей вымазали»... Вот здесь в Европе, ни немцы, ни французы, ни англичане, никто не приходит и не требует от меня, чтобы я обязательно выступал против китайцев. Нет уж, от китайцев увольте! Слышал я, меня там эксплуататором называют. Так ведь не рабочих я эксплуатирую, а свой собственный голос. И шампанское пью, ежели это им не нравится, за свои собственные, заработанные денежки...

Позже, в наших беседах, возвращался он к этой теме неоднократно. Конечно, был Шаляпин глубоко русским человеком, по России тосковал, чувствовал себя связанным с ней глубокими, органическими узами. И свой вынужденный отрыв от России, от родной русской природы, от русского театра, переживал болезненно. Иногда спрашивал:

— Скажите на милость, почему должен я петь в Бордо или в Мюнхене, а не у нас в Саратове? По настоящему хотел бы я жить в моей деревушке Старове, во Владимирской губернии. Дача у меня была там славная. Сколотили замечательный дом из сосновых бревен. Речка под боком, — мы с Костей Коровиным рыбу удили, потом купались и на берегу уху варили... Оказалось — все это буржуазно. Должно быть сделали там какой-нибудь колхоз.

Вот как странно у меня судьба сложилась. Вышел я из этого самого пролетариата, образование получил в приходском училище. Так и остановился на первых четырех правилах. Много пришлось поработать, многому самому научиться, чтобы потом Бориса сыграть... Был я всю жизнь рабочим, а вот — наложили на меня всякие контрибуции да и из России выжили. Не знаю кому сколько, а мне торжество пролетариата обошлось без малого в четыре миллиона рублей. Бог с ними, с деньгами этими! Не в наследство получил от отца-

писаря! Сам нажил, своим трудом... Звали меня в Россию вернуться, звали... Надо было поклониться...

И, с лицом, внезапно налившимся кровью:

— Не люблю кланяться. Ни царям, ни псарям!

**
*

Его звали. И полпред Красин, с которым Шаляпин иногда встречался заграницей, и Алексей Толстой и, в особенности, Горький. Федор Иванович отвечал уклончиво: подписаны контракты, занят, да и впustят ли?

По свидетельству Е. Пешковой, Максим Горький обратился с этим вопросом к самому Сталину.

— Что же, — ответил Сталин, — двери открыты, милости просим...

Приглашение это было немедленно Федору Ивановичу передано, но он не пожелал им воспользоваться.

**
*

Однажды, в веселую минуту, рассказал мне Шаляпин такой случай. Было это через год или два после его отъезда из России, когда жил Федор Иванович еще по советскому паспорту.

Из полпредства явился чиновник. Очень любезный. Осведомился о здоровье, об успехах. И вкрадчивым голосом напомнил, что по соглашению с Наркомпросом, перед выездом заграницу, Федор Иванович пообещал некий процент своих заработков отдавать правительству. Должок накопился порядочный...

Федор Иванович выслушал чиновника одобрительно, почти радостно кивая головой:

— Совершенно справедливо... Так, так... Конечно, надо заплатить. Да я сейчас, одну минуточку.

Вышел в соседнюю комнату, порылся в письменном столе и нашел старую чековую книжку Петербургского Международного Банка, — хранил ее, как реликвию...

Выписал чек на шестизначную сумму в рублях и с торжеством вынес представителю советской власти:

— Пожалуйста. В Петербурге и получите с моего счета. У меня там несколько миллионов рублей осталось.

И, вспоминая об этом случае, Шаляпин неизменно начинал весело смеяться.

**

Со времени смерти Шаляпина не прекращается спор о том, думал ли он когда-нибудь серьезно о возвращении в Советскую Россию?

Вот что рассказала мне как-то за обедом у общих друзей вдова покойного Мария Валентиновна:

— Федор Иванович в гневе бывал страшен... Так вот, живи он в Советской России, он не выдержал бы. Бутылкой мог убить.

Бывали у него в Москве такие страшные припадки гнева. Однажды какой-то комиссар в театре начал доказывать, как много, дескать, советская власть делает для искусства. Федор Иванович вдруг вспылил:

— Да какая же это власть? Г...., а не власть! Что она в искусстве понимает?!

В те времена это еще могло сойти ему с рук. А другой раз какой-то советский сановник начал поучать Федора Ивановича, как надо понимать пролетарское искусство. Шаляпин побелел, встал, взглянул на него и зарыдал:

— Ты кого учишь, сукин ты сын! Я царя Бориса понимаю, а твоего пролетарского искусства понять не могу?! Вон отсюда, пока я тебя с лестницы не сбросил!

И Мария Валентиновна заключила:

— По России Шаляпин тосковал. Но вернуться в Советскую Россию никогда не собирался.

**

Шаляпин вечно был в разъездах, уезжал с концертом в далекие страны, но в Париж неизменно возвращался с радостью. Париж был связан с воспоминаниями юности, с триумфальной постановкой «Бориса», привезенного Дягилевым. В Париже была семья, был его дом.

Однажды попал я на авеню Д-Эйло в тяжелый день: у Шаляпина была простуда, а на следующий день предстоял спектакль в опере. И, как всегда в таких случаях, он нервничал, не находил себе места и горько жаловался на свою судьбу:

— Ведь я здоров физически, — говорил он. — Так здоров, что, пожалуй, готов в цирке с кем угодно бороться. А тут заложило нос, — придется весь день сидеть у камина, по старииковски, и думать: буду петь, или надо отменить? В такие дни на душе так обидно становится, что иногда я спрашиваю себя: а не лучше было бы послушаться отца и стать сапожником? Очень хотел отец из меня сапожника сделать. И жил бы я теперь припеваючи, точал бы сапоги первый сорт... Бил меня отец под пьяную руку и кричал при этом:

— В дворники надо идти, скважина, в дворники, а не в театр! Что в театре хорошего? Мастеровые вот как живут: и сыты, и обуты... А ты в тюрьме сгниешь!

... Походил по комнате, остановился перед зеркалом, с беспокойством на себя посмотрел; взял пульверизатор, попрысал чем то себе в горле, вполголоса взял ноту «ми-ми-ми...» И вдруг, неожиданно:

— В карты играете? В преферанс?

— Нет, Федор Иванович, — ответил я не без смущения. — Не играю.

Удивленный и несколько разочарованный взгляд.

— Ну, хоть в шестьдесят шесть?

— Нет... Ничего в картах не понимаю. Червей от пик отличить не могу.

— Так, так... Что же, годики пройдут. Женщины

от вас отвернутся. И без карт плохо вам будет. Печальная, одинокая старость.

И опять — пульверизатор...

Я тогда не знал, друзья рассказали мне позже: Федор Иванович любил играть в карты, и если выигрывал, — приходил в хорошее настроение, и не из за денег, конечно, а из столь нужного ему чувства победителя. Проигрыша не выносил, становился раздражителен, резок. Были в его окружении постоянные партнеры, которые хорошо знали эту слабость Шаляпина и делали все возможное, чтобы ему незаметно проиграть.

Дочь Шаляпина, Лидия Федоровна, рассказывала мне, что отец иногда играл с ней в биллиард. Если выигрывал, был весел и ласков. Проиграв же, бросал кий и в сердцах говорил:

— А играть ты все равно не умеешь!

**

Должно быть, простуда всетаки прошла, потому что на следующий день «Бориса» он пел. И именно потому, что я знал, как волновался перед этим спектаклем Шаляпин, этот вечер особенно мне запомнился.

Вот шествуют чинно бояре из Успенского в Архангельский собор, плывет над Москвой трезвон колоколов, толпится простой народ и Шуйский сладким тенорком провозглашает с паперти:

— Да здравствует царь Борис Федорович!

А за белыми рындами появляется царь Борис, — скорбный, с печальной думой на темном, немного татарском лице, окаймленном черной как смоль бородой. Величава и медлительна его поступь, скорбит душа его, он не сказал еще ни слова — только внимательно взирает на толпы людей, теснящихся перед собором, а уж зритель покорен силой и мощью, исходящей от этого человека... Воистину — великий государь!

Эти молчаливые выходы Шаляпина в «Борисе», в «Псковитянке» или в стане Кончака всегда потрясали.

В эти минуты особенно чувствовалась царская его порода, великое искусство шаляпинского перевоплощения. Не даром так много учился он у больших драматических актеров. Станиславский всегда говорил артистам Художественного Театра:

— А вы сыграйте так, как сыграл бы эту роль Шаляпин.

Сколько раз потом приходилось слышать и видеть Шаляпина в «Борисе Годунове», и всякий раз спектакль этот потрясал. Почему то особенно трагической казалась сцена в тереме, — любящий, нежный отец, склоняющийся к «бедной голубке» Ксении, его восхищение царевичем и вместе с тем тайная забота и тревога за будущее:

Когда нибудь, и скоро может быть,
Тебе все это царство
Достанется...

А сколько тоски, отчаяния, гнева и бессильной ненависти в мятущемся царе с нечистой совестью, какой безотчетный страх звучит в его фразе:

Дитя окровавлённое встает...

И с этой минуты тень замученного ребенка не покидает безумца в кремлевских палатах. Как забыть его допрос лукавого царедворца Шуйского, а потом бредовый выход Бориса в лунном свете, его истошный, страшный крик: «Чур! чур! Не я, не я твой лиходей!», когда он корчится, ползает по полу, — вот они, репинские глаза сыноубийцы Ивана Грозного!

Когда то А. Н. Бенуа рассказывал, что на первом представлении «Бориса Годунова» в Париже, весной 1908 года, произошла необычайная вещь. Когда Шаляпин, пятясь назад от призрака кровавого младенца вышел на сцену с криком «Чур! чур!», часть зала медленно поднялась с мест, словно множество людей в это мгновенье сами увидели страшный призрак убиенного царя-

вича. Незабываем и внешний облик, самый грим Шаляпина в этой сцене. Он уже не «великий государь» в полном расцвете физических сил, сознающий всю свою мощь и величие... Щеки его впали, волосы в бороде поседели, спутаны, в глазах ужас и безумие.

Но когда начиналась финальная сцена агонии и приближалась смерть, об игре Шаляпина в зале все забывали: так звучал в эти минуты его голос, столько в нем было нежности, мольбы и любви к сыну, что ни о чем ином кроме пения нельзя было и думать. Грозно и повелительно звучало его политическое завещание:

Не вверяйся наветам бояр крамольных!

Внезапный переход к человеческому, к отцовским чувствам, нежнейшее пианиссимо:

Сестру свою, царевну, береги мой сын...

И молитвенное обращение к «силам небесным», — некий иконописный образ и чистейший, ни с чем несравнимый голос, который минуту спустя сменится жалким, страдальческим криком:

О злая смерть! Как мучишь ты жестоко!

Последний, душераздирающий вопль было невозможно перенести:

Повремените! Я царь еще!

Помню: когда занавес медленно опускался, скрывая от публики тело мертвого царя и склонившегося над ним, рыдающего Федора, зал никогда не начинал сразу аплодировать. Была длинная пауза, нужно было несколько секунд, чтобы побороть в себе жалость, и страх, и смятение, и только после этого можно было дать выход своему волнению и восторгу.

**

Лето 35 года мы провели в Виши и часто встречались в парке на прогулке с Шаляпиным. Федор Иванович лечился, пил по утрам тепловатую воду из источника, а вечером пел в Театре Казино «Дон Кихота» и «Бориса Годунова». Каждый раз перед спектаклем происходил такой разговор:

— Вы с женой вечером приходите. Только не в зал, а за кулисы, ко мне, в артистическую... Не могу я быть один, нервничаю. А я тут никого в этом городе толком не знаю.

Мы приходили за час до спектакля. Шаляпин уже гримировался. Это была очень медленная и кропотливая процедура, при чем работал он над своим лицом, как художник над полотном. Делал широкие мазки, вблизи это могло казаться грубо-ватым, но со сцены грим не был заметен, так натурально и естественно выглядело его лицо. На наших глазах белобрысый волжский богатырь постепенно превращался в усатого Рыцаря без Страха и Упрека со впавшими щеками и провалившимися глазами, или в черноволосого, жестокого полу-татарина Бориса... Однажды, когда грим был уже почти закончен, Федор Иванович вдруг бросил карандаш на столик и с отчаянием сказал:

— Не могу! Руки дрожат от волнения!

— Помилуйте, Федор Иванович! Вы сегодня поете «Бориса». Тридцать лет уже поете... Чего же вам волноваться?

Шаляпин посмотрел с осуждением:

— Сапожник не волнуется. А настоящий артист волноваться должен, не может не волноваться... У меня всегда руки дрожат перед выступлением.

И, правда, я видел, как перед выходом на сцену он места себе от волнения не находил. Но зато после спектакля сразу повеселел. Медленно разоблачился, снял вазелином грим, разделся до пояса, — был он в этот момент похож на римского гладиатора, — и вдруг подмигнул:

— Смотрите, сейчас китайца покажу.

Подтянулся, напряг мускулы и, правда, из каких то морщинок на животе сложилось лицо смеющегося китайца.

Обращаясь к жене:

— Ну, ладно, мадам, вы теперь выйдите, а то будет хуже, чем китаец. Я переоденусь и пойдем, выпьем чего-нибудь, отпразднуем.

**

У меня было в Париже несколько писем Федора Ивановича, они пропали во время войны. Случайно сохранилась только одна открытка, полученная после этого сезона в Виши. Шаляпин уехал отдыхать в Котерет, в Пиринеях, а мы в Овернь, на озеро Шамбон.

«Милый друже мой! писал Федор Иванович. Спасибо за статью и за открыточку. Ваша милая память была мне очень приятна.

Я вижу на озере вашем красиво и приятно. Надеюсь хорошо отдохнете. Поцелуйте ручку жене и примите мой сердечный привет.

Ф. Шаляпин»

**

Было другое лето, когда мы гостили в Сэн Жан де Люс, у наших старых друзей М. В. и Л. М. Розенталь. В самом конце бухты, у мыса Сэнт Барб, стояли две виллы Федора Ивановича «Изба» и «Корсар». Утром он приходил на узкий волнорез, где я купался и ловил бычков. Шаляпин неизменно был в ослепительно белой шелковой рубашке с галстуком-бабочкой, в белых фланелевых панталонах. Даже в деревне на отдыхе, сохранял он всю свою элегантность.

Мы долго прогуливались по набережной, смотрели, как в море выходит флотилия рыбачьих судов на ловлю

туны, и Федор Иванович любил рассказывать, как в молодости, на Волге, он вдруг стал страстным рыболовом и теперь иногда мечтает заехать в глушь, чтобы была речка или озеро с запрудой и мельницей, и чтобы можно было посидеть на бережку с удочкой в руке... Говорил во время этих прогулок больше Шаляпин. Я слушал и старался запомнить и вернувшись домой как можно точнее записать его слова, — изменив стиль Шаляпина, весь оборот его речи, можно было рассказ только испортить.

Сохранилось у меня с этих времен много таких записей, — иногда просто отдельные, поразившие меня фразы. Например, как то речь зашла о Рахманинове. Шаляпин остановился и, с высоты своего громадного роста поглядев на меня, сказал:

— Рахманинов? Это, друже, гора, горище. Я в жизни никого не боюсь, а перед ним трепещу.

Очень скоро и с удивлением я заметил, что исключительный свой талант драматического артиста, собственно игру, Шаляпин в себе не особенно ценил. Пение для него всегда было на первом месте, превыше всего. И, замечательно: Федор Иванович, весьма любивший всяческое перед собой преклонение, по отношению к своему собственному искусству был критиком строжайшим, ничего себе не прощал. Если чувствовал, что пел не так, как нужно, или голос не звучал, — комплименты резко обрывал, становился мрачнее тучи.

— Я то знаю, — говорил он, барабаня пальцами по столу. — Меня не обманешь. Вот вы все игрой восхищаетесь, а я больше всего боюсь, как бы игрой не загипнотизировать зрителя и не помешать ему зреющим слушать музыку... Что говорить, — игра важна и я над ней не мало работаю, но если подумать — вещь не такая уж премудрая... Надо забыть самого себя. Если играю Бориса, чувствую себя Борисом. Когда пою Варлаама — чувствую себя беглым монахом и пьянчужкой Варлаамом.

— Да ведь чувствовать себя Варлаамом можно, — возразил я, — но у Вас получается, а у другого, который

тоже старается почувствовать, ничего не выходит. Правды нет, и зритель ему не верит, сколько бы он ни старался и не жестикулировал...

— Жест! — прервал Шаляпин, — жестом у нас в опере любят злоупотреблять, но только что же? Стоят на сцене два десятка здоровенных мужиков с наклеенными бородами и протягивают, как по команде, руки к дирижеру... Не люблю я в жизни, а тем более и в опере всякую фальшь, даже освященную и узаконенную традициями, и не даром говорили, что я — нарушитель всех трафаретных приемов на сцене. Вот, милый, запомните, что я вам сейчас говорю: настоящий жест, это не размахивание руками и не движение тела, а движение души...

**

В послеполуденные часы, когда спадал зной, мы отправлялись посидеть в саду «Корсара». Как то, встретившийся по дороге мальчишка газетчик сообщил:

— Видели? Приехал мосье Шаляпин. Только что гулял по набережной...

И, с нескрываемым восхищением:

— Здоровый такой... Вот, должно быть, пьяница!

Я рассказал Федору Ивановичу о мальчишке, — рассказ был к слухаю, так как Шаляпин в честь гостей распорядился открыть громадную бутыль крепчайшего арманьяка. Прихлебывая спиртное из широкого бокала он с невинным видом спрашивал:

— Ну, скажите на милость, — откуда пошла эта легенда, будто я — пьяница? Бывало, откроешь какую-нибудь бульварную газетку и читаешь: «Нам передают, что вчера вечером известный артист Ш. на четвереньках искал выхода из ресторана «Олимпия». А выпил я с кем нибудь за компанию всего то одну бутылку шампанского... Или возвращается домой из трактира пьяный купчишка, еле на ногах держится. Ну, конечно, жена его начнет ругать, — бесстыжие, мол, твои глаза, опять нализался. А купчишка удивляется:

— Я — пьян? Вот Шаляпин, так тот выпил!.. Четыре бутылки один раздавил!

Федор Иванович, мастерски изобразивший сцену с пьяным купчишкой, равнодушно добавляет:

— Пью за завтраком и обедом красное французское вино. До двух бутылок в день, и очень хорошо себя при этом чувствую. А алкоголя мне нельзя, врачи не позволяют.

Затем сосредоточенно берет со стола бутыль со стоградусным арманьяком и подливает в бокалы:

— В Виши был, печень лечил... Теперь вот арманьяком себя вознаграждаю. За Ваше здоровье!

И при этом церемонно поднимал бокал, слегка прикрывал глаза и вдыхал «букет»... И ноздри при этом трепетали.

**
*

Иногда, в те дни, когда Марья Валентиновна особенно сурово поглядывала на бутыль, мы скромно пили чай в саду, под зонтиком, на площадке, усыпанной ярко-желтым гравием. Потом уходили в гору по тропинке, к развалинам старинного испанского монастыря. Шаляпин долго искал во Франции дачное место, которое напоминало бы ему Россию, так и не нашел, но очень полюбил береговую полосу у испанской границы. Здесь был простор, в лицо всегда дул свежий, соленый и немного влажный ветер. Внизу, под обрывом, пенился прибой... Впереди мелькало синенькое, ситцевое платье Даси, младшей дочери, в которой Федор Иванович души не чаял.

Как то отправились мы гулять с местным жителем-контрабандистом. Был он баск, в неизменном синем берете, — еще сейчас помню его смуглое, обветренное лицо. Рассказывал Чикито о своей работе и о том, как безлунными ночами баски прорицаются горными тропинками, прислушиваются к малейшему шороху, готовые к встрече с пограничниками.

— Идем гуськом, человек десять. У каждого на спи-

не двадцать литров чистого спирта. Не очень это доходное ремесло, но есть опасность, а опасность всегда влекла к себе монтаньяров. Ничего не поделаешь, в жилах наших течет старая корсарская кровь.

Хуже всего на перевалах, где пограничники устраивают засады. Зазеваешься и, — пропал твой спирт!

Шаляпин мечтательно слушал, должно быть представлял самого себя ночью, в горах, с контрабандистами. Покачивал головой:

— Ежели бы я был контрабандистом, — давно бы спился. Ведь этакое богатство, — двадцать литров чистого спирта!

Поглядел на узкую тропинку, уходящую в горы, и неожиданно вполголоса запел из «Дон Кихота»:

— C'est ici le chemin que prennent les bandits!

**

На следующий день вспомнили о контрабандисте Чикито и Федор Иванович заговорил о ворах.

— Как то в Кисловодске воры сняли у меня на улице часы. Ценность не Бог весть какая, а часами этими я очень дорожил, — память была... Отправился на следующий день в сыскное отделение и говорю начальнику:

— Вы, ведь, всех местных воров и карманников знаете. Они у вас на учете. Уж доставьте мне удовольствие: передайте им, что Шаляпин просит их завтра к себе на завтрак.

На завтрак собралось у меня не мало славных ребят. Угостил я их, как следует, шашлык ели, цыплят-табака, вино пили... А под конец я им говорю:

— Слушайте, сукины дети, а ведь кто то из вас упер у меня часы! Вы их верните мне, а что стоят часы — я с удовольствием заплачу, так что убытка вам не будет.

Начали мои гости друг на друга подозрительно рассматривать, о чем то между собой шептаться... Потом один говорит:

— Ей Богу, Федор Иванович, не мы часы сперли!

Станем своего брата, артиста, обижать! Да мы вас уважаем слишком!.. Нет, это какой то подлец-гастролер работал. Мы уж его найдем и часы вам доставим.

Действительно, должно быть, работал гастролер, человек не местный. Потому что часы мне так никогда и не вернули.

**

Много интересного о Шаляпине узнал я не от него самого, а от членов его семьи или близких друзей. Как то младший его сын Федор Федорович, отлично имитирующий отца, рассказал забавную историю, по моему нигде до сих пор не напечатанную.

Был в Петербурге царский спектакль. Шел «Борис Годунов». В антракте директор Императорских Театров сообщил Шаляпину, что Его Величество приглашает артиста в царскую ложу. В тяжелом парчевом одеянии Бориса, в гриме, как был, Шаляпин проследовал в царскую ложу, где пили чай.

После обычных в таких случаях фраз государь сказал:

— Я, Федор Иванович, хотел у Вас кое что приватно спросить...

Отвел его в глубь ложи:

— Скажите, вот я часто бываю на оперных спектаклях. Почему это тенора всегда имеют у публики, в особенности у женщин, такой успех, а басы — кроме Вас — нет?

Шаляпин ответил:

— Ваше Величество, ведь это очень просто... Тенора всегда поют партии любовников... «Куда, куда вы удалились?» Ну, женщины и умирают... А мы, басы, кого поем? Либо монахов, либо дьяволов, либо царей... Кого же это интересует?!

Государь подумал, подергал бородку и согласился:

— Да, действительно, роли все неинтересные...

К слову сказать, Шаляпин в своих «Воспоминани-

ях» описывает посещения царской ложи, но об этом разговоре умолчал.

Se non e vero e ben trovato...

**
*

Весной 1937 года был я в Париже у Шаляпина на авеню Д-Эйло. Пришло несколько французских и иностранных журналистов. Федор Иванович «шармировал» их, как он один умел это делать, но больше улыбками и боярскими, широкими жестами. Разговор не клеился — в иностранных языках Шаляпин был не силен.

— Je parle français comme un stoeross.

И, обращаясь ко мне:

— Объясните им, друже, что это означает, — стоечесовый дуб!

Потом, когда журналисты ушли и можно было перейти на родной язык, Федор Иванович приказал подать виски, оживился и вдруг начал разыгрывать сцену из «Скупого Рыцаря»:

Тут есть дублон старинный... Вот он. Нынче
Вдова мне отдала его, но прежде
С тремя детьми полдня перед окном
Она стояла на коленях, воя.

Я слушал его с глубоким волнением и думал: какое это счастье! Вот Шаляпин играет сейчас для одного тебя... Никакое описание не может передать игры Шаляпина. Был он в городском костюме, без грима, но лицо его как-то внезапно осунулось, в глазах появился жадный, лихорадочный блеск, пальцы, перебиравшие золотые монеты, стали крючковатыми и стариковскими... Закончив монолог Федор Иванович устало прикрыл глаза и тихо сказал:

— Дублон старинный... Я этого Рыцаря скучного чувствую. Не даром говорят люди, что я сам скуч и алчен. Правда, люблю деньги! Меня за это и Горький

упрекал, да и все упрекали, кому не лень.* А знают ли эти самые люди, что такое настоящий голод? Я то знаю, — по два дня в Казани и в Нижнем ходил не емши... И еще боюсь, смертельно боюсь: состарюсь, потеряю голос, денег не будет и — никто не поможет, никто!.. Я знал таких нищих стариков певцов, а ведь какие орлы были в прошлом! Вот этот страх остьаться без голоса и без денег гложет меня, не дает мне покоя... Да, деньги, «люди гибнут за метал»... А без этого металла, без денег, не проживешь. Но и в деньгах радости нет.

И, внезапно, со слезами на глазах:

— Где она, моя милая Россия? К чему это все? Почему я здесь, а не в Москве, или у себя, на Волге?

**

Иногда я заглядывал в студию Коровина у Порт Сэн Клу. Жилось Константину Алексеевичу тяжело, он писал только «ходкий товар», — все больше розвальни на снегу, или ночной Париж, — эти вещи имели легкий сбыт.

По утрам Коровин бродил по своей студии всклокоченный, весь седой, какой-то растерзанный, — он удивительно напоминал Шаляпинского «Мельника» в последнем акте. И тоже любил поговорить, изобразить, — очень красочны были его истории, замечательный был он рассказчик.

* Горький писал, что «Шаляпин много говорит о деньгах — признак дрянной». Но вот что писал по этому поводу сам Шаляпин в письме к Горькому из Парижа, 16 сентября 1925 года: «...смысл этой работы теряет то прекрасное, которым я жил раньше: художественные задачи смыты в рутинных театрах, валюта вывихнула у всех мозги, и доллар затемнил все лучи солнца. И сам я рыскаю теперь по свету за долларами и, хоть не совсем, но по частям продаю душу черту. На доллары купил я для Марии Валентиновны и детей дом в Париже (не дворец, конечно, как описывают и говорят разные люди, но однако живу в хорошей квартире, в какой никогда еще в жизни не жил)».

Когда то, когда Шаляпин и Коровин много жили вместе или часто встречались друг с другом, рассказам и шуткам не было конца. Изображали каких-то подвыпивших купцов на нижегородской ярмарке, или охотников на глухарей. Был совершенный театр. Но в последний период их жизни старые друзья друг к другу охладели, что то между ними произошло и они почти не встречались.

— Знашь, — говорил Коровин, обращаясь ко мне на «ты», как он делал со всеми своими собеседниками, — Федя, — он нынче очень изменился... Я так полагаю: скучно ему стало жить. Понимашь? Скучно...

— А как вы с Шаляпиным познакомились и подружились? — спросил я, желая вызвать Константина Алексеевича на интересный рассказ.

— С Федей? Прихожу я в ресторан Лейнера на Невском обедать с дирижером оперы Труффи. Приводит с собой Труфочка молодого человека. Ростом в сажень, худой, глаза серые, ресницы — солома. Молодой человек смотрит на меня улыбаясь и спрашивает с таким матерным акцентом:

— Парлато итальяно?

Я был тогда жгучим брюнетом. Он, знаешь, принял меня за итальянца. Начали мы есть. Очень много он ел, прямо видно, как куски в горле проходят... Когда он насытился и собирался уходить, Труффи дал ему взаймы три рубля.

— Кто он такой? — спросил я Труффи.

— Замечательная человека. Приходи его послушать. Зовут Шаляпин. Такая голос!

Так мы и познакомились, — и уж на всю жизнь.

Позже знакомство и дружбу с Шаляпиным Коровин описал в книге, вышедшей уже после смерти Федора Ивановича. Странная была это книга, — необычайно ярко написанная, как коровинская картина. Некоторые страницы были изумительные, а временами вдруг появлялась злость и какая то зависть к другу юности, и много лишнего, чего можно было о Шаляпине не писать.

**

Под вечер 12 апреля 1938 года импресарио Ф. И. Шаляпина М. Э. Кашук позвонил ко мне в редакцию «Последних Новостей»:

— Приезжайте поскорее... Только что скончался Федор Иванович.

Французские журналисты, дежурившие в вестибюле дома на авеню д-Эйло, еще ничего не знали. Им объявили о смерти Шаляпина только после того, как врач официально ее констатировал.

Мне рассказали близкие, что предыдущую ночь Федор Иванович спал спокойно. Но часов в одиннадцать утра начался бред.

В беспамятстве Федор Иванович несколько раз жаловался:

— Тяжко мне... Где я? В русском театре? Чтобы петь, нужно дышать, а нет дыхания...

Позже он взял руку жены, стоявшей у его изголовья, и сказал:

— За что я должен так страдать? Маша, я пропадаю...

После этого он уж не произнес ни слова.

**

Во время своей болезни Шаляпин не сознавал, что умирает, все надеялся, что отлежится и потом уедет в деревню на поправку. Но о близости смерти писал иногда в Москву дочери Ирине и один раз, дней за десять до конца, приподнялся на подушках и сказал сиделке, бывшей в комнате:

— Мне кажется, я сегодня умру.

— Что вы, Федор Иванович!

— Нет... право... Хорошо бы сейчас умереть. Очень страдаю. Вот тут, — он указал на грудь, — словно нож торчит...

Место на кладбище Батиньоль он выбрал уже дав-

но, — кладбище понравилось ему своим простором, солнечностью, раскидистыми платанами.

Он сам указал место, где поставить гроб, — в столовой, под образами и вечером уже лежал в этом углу, в страшном одиночестве. Прекрасно и бледно было его лицо в неровном свете потрескивавших восковых свечей. На утро у гроба стоял мольберт и сын, Борис Федорович, торопливо и нервно писал портрет отца, — торопился, словно боялся, что не успеет закончить.

На панихиде в это утро я передал Марии Валентиновне пакетик с русской землей. Я взял пригоршни земли на русской стороне, когда переходил границу в Латгалии. И землю эту на похоронах высыпали на гроб Шаляпина.

Его хоронили чудесным апрельским днем. Старый платан над раскрытоей могилой был уже весь в цвету.

П. Н. МИЛЮКОВ

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ МИЛЮКОВ приходил в редакцию «Последних Новостей» поздно, обычно между 6 и 7 часами вечера. Редакция помещалась на улице Тюрбиго, во втором этаже, над кафе Дюпона. Седой как луна, немного розоватый Милюков, которому шел уже восьмой десяток, без видимого усилия поднимался по крутой лестнице и, пожав в передней руки дежурным курьерам, прямо входил в редакторский кабинет. Собственно назвать «кабинетом» эту небольшую, тесную комнату с единственным окном, у которого помещался письменный стол-конторка, можно лишь с большой натяжкой. Но и это помещение было уже большим прогрессом по сравнению с предыдущим, на улице Бюффо. Там комната, в которой работал Милюков, имела смежную стену с синагогой испанских евреев сефардов и по вечерам, как раз в те часы, когда Павел Николаевич писал передовицу, из за стены явственно доходило в его кабинет заунывное, восточное пение молящихся.

К приходу Милюкова помощник редактора И. П. Демидов, молчаливый человек со смуглым, цыганским лицом, приготовлял на столе груду статей. Редактор немедленно принимался за их просмотр. Некоторые пропускал на веру, но «анархиста» Мих. Осоргина, Е. Д. Куккову, С. Л. Полякова-Литовцева или Л. М. Неманова, читал внимательно, при чем временами перо его беспощадно гуляло по рукописи, выправляя политическую «линию». Работать в редакции было трудно, — немедленно начинался поток посетителей. Павел Николаевич всех принимал и внимательно выслушивал. А затем, сидя как то боком, расчистив место на краюшке стола,

он начинал писать передовицу, — если только не подготовил ее заранее дома. Писал он очень быстро, почти без помарок, но обязательно перечитывал написанное и только тогда начинал делать многочисленные исправления и вставки на полях, сверху и снизу. Редко исправления эти носили стилистический характер. Милюков писал просто, деловито, временами даже суховато. Поправки всегда делались по существу, когда следовало уточнить и заострить свою мысль. И, несмотря на внешнее отсутствие блеска, статьи его, как и речи, даже с стилистической точки зрения выходили безукоризненными — так просто, ясно и логически обоснована была мысль Милюкова.

Но из за многочисленных вставок передовица в конце концов сильно разбухала и вместо положенных двух колонн превращалась в «подвал», — к великому отчаянию и негодованию главного работника и фактического редактора газеты А. А. Полякова, к которому передовица переходила. Печерк у Павла Николаевича был довольно неразборчивый, писал он тонким пером, острыми закорючками, но при известном навыке рукописи его читались сравнительно легко. Впрочем, иногда даже привычный А. А. Поляков останавливался в недоумении, заходил к редактору и спрашивал, что это за слово? Милюков с извиняющейся улыбкой прерывал на мгновение работу, брал ручку в рот (у него была особая привычка зажимать ручку между зубами), внимательно прочитывал всю фразу и тут же выправлял непонятное слово.

— О чём сегодня пишет «папаша»? — спрашивали в общей редакционной комнате.

Писал он, конечно, больше всего на темы политические, но с таким же успехом мог написать превосходную статью о греческой архитектуре, об итальянской живописи эпохи Ренессанса, или о русской музыке, — и очень серьезно, с настоящим знанием вопроса, потому что все это он когда то изучал и запомнил. Л. М. Неманов как то рассказал характерный для универсальности познаний Ми-

люкова эпизод. Из Лувра украли «Джоконду» и требовалось срочно написать статью об этой вещи и о творчестве Леонардо да Винчи вообще. Дело происходило летом, а художественного критика «Речи» А. Н. Бенуа в Петербурге не было. М. И. Ганфман, заменивший И. В. Гессена, обратился к Милюкову: не пожелает ли он написать?

Павел Николаевич немедленно согласился и в тот же день прислал обстоятельный фельетон о «Джоконде» и о Леонардо да Винчи. А. Н. Бенуа потом долго не верил, что фельетон этот был написан Милюковым, а не специалистом по истории искусства.

В былые времена среди газетчиков велись споры: журналист ли Милюков, или прежде всего политик, имеющий потребность ежедневно излагать в газете свои мысли? Конечно, был он профессиональным журналистом, но не без недостатков: не любил сенсаций, крупных заголовков, не очень заботился о «живом» материале, писал длинные статьи, заражая своим примером многих сотрудников. Но зато умел быстро и легко откликнуться на всякое выдающееся событие, газетную работу любил по настоящему и, в последний период жизни, считал ее своим основным занятием. Политика иногда отрывала его от журналистики, но не на долго, — при первой же возможности он к ней возвращался. Вот свидетельство редактора «Речи» И. В. Гессена: «Двухмесячное пребывание на посту министра иностранных дел прервало работу П. Н. в «Речи», и он очень редко показывался в редакции. Но когда в день удаления его из состава Временного Правительства, около полуночи, я вошел в свой редакционный кабинет, я увидел П. Н. в неизменном сером костюме стоящего за contadorкой с пером в руках. «Как — невольно воскликнул я — вы уже пишете статью?» «Да, — отвечал он спокойно, точно ничего не случилось — пришла телеграмма о речи Бонар Лоу, и нужно по этому поводу написать».

Это был автоматический рефлекс, естественная реакция подлинного журналиста... Здесь не место писать

историю «Последних Новостей», которые в течение 20 лет играли руководящую роль в жизни русской эмиграции. Но в длинной и богатой различными эпизодами жизни Милюкова газета эта явилась немаловажным этапом. И какая же это была газета! Милюков стал тем центром, вокруг которого собирались все лучшие литературные и публицистические силы Зарубежья. В отделе публицистики регулярно появлялись статьи лондонского корреспондента Дионео, С. Л. Полякова-Литовцева, Бор. Мирского, Л. М. Неманова, А. М. Кулишера (Юниуса), Е. Д. Кусковой, В. Е. Жаботинского, Антона Крайнего, которому из за политических разногласий потом пришлось перейти в правую печать, Ст. Ивановича (В. Талина) В. Мякотина, В. А. Оболенского, С. Н. Прокоповича. По четвергам, на литературной странице печаталась беллетристика И. А. Бунина, отрывки из романов и очерки М. А. Алданова, произведения Н. А. Тэффи, А. М. Ремизова, С. Р. Минцлова, Вас. И. Немировича-Данченко, М. А. Осоргина, А. А. Плещеева, Семена Юшкевича, Б. К. Зайцева, Сирина-Набокова; поэзия была представлена Бальмонтом, Георгием Ивановым, Ириной Одоевцевой, Мих. Цетлиным, П. Потемкиным, Сашей Черным.

В «Последних Новостях» печаталась плеяда молодых поэтов и писателей: Б. Поплавский, Довид Кнут, Л. Ф. Зуров, Галина Кузнецова, А. Ладинский, Георгий Песков, Мих. Струве, Н. Берберова. Дважды в неделю появлялись интереснейшие статьи Н. В. Калишевича (Р. Словцова); фельетонистами были Дон Аминадо и Вл. Азов; на литературные темы писали Г. В. Адамович, В. Вейдле, Г. Лозинский и В. Ф. Ходасевич, позже перешедший в «Возрождение». Художественную критику вел маститый А. Н. Бенуа, музыкальную Б. Ф. Шлецер, балетную — рано умерший Андрей Левинсон, театральные рецензии писал б. директор Императорских Театров кн. С. М. Волконский, статьи на научные темы Ю. Делевский, обладавший энциклопедическими знаниями. Внутреннюю редакционную работу делали несколько опытных журналистов: Н. В. Калишевич, М. Ю. Бенедиктов, С. Г.

Сумский, А. Б. Петрищев. Н. П. Вакар, давал информацию и эмигрантский репортаж, пишущий эти строки вел парламентский отдел и давал политическую информацию. Всей же внутренней редакционной работой руководил А. А. Поляков, трудовой день которого заканчивался в типографии в 3-4 часа утра; Милюков был капитаном судна, но руль всегда был в твердых руках А. А. Полякова... Как не упомянуть карикатуристов Мада и талантливого М. Линского, которого немцы расстреляли в качестве заложника во время оккупации?

Это была газета замечательная в своем роде, где могли печатать свои статьи одновременно и социалисты и генерал А. И. Деникин, конечно, поскольку взгляды их совпадали с точкой зрения П. Н. Милюкова. В военных кругах П. Н. Милюкова ненавидели за его «новую тактику», но газету читали от доски до доски. Дон Аминадо так определял настроения читателей.

— Число поклонников росло постепенно, число врагов увеличивалось с каждым днем, а количество читателей достигало поистине легендарных — для эмиграции — цифр. Ненавидели, но запоем читали.

Газета просуществовала до разгрома Франции. Последний номер вышел 14 июня 1940 года, за несколько часов до вступления немцев в Париж. С ее исчезновением в русском Париже образовалась громадная пустота, которая, фактически, никогда заполнена не была.

**
**

Очень трудно понять, как Милюков успевал пропасть такую массу книг, журналов и газет (читал он на 10-12 языках), где находил время для писания ежедневных статей и для серьезной работы над книгами? Часов в девять вечера он выходил из редакции и отправлялся либо на какоенибудь заседание, либо в гости, или даже на бал, и если попадал в зал Лютеции на бал журналистов или Московского Землячества, то уж оставался там до утра, ничуть не утомленный, — он очень любил балы. А если вечером был концерт, в редакции

знали, что передовица будет готова значительно раньше: на концерт Милюков никогда не опаздывал... При этом ночном образе жизни рабочий его день начинался неизменно в 7 утра! До девяти он «работал для себя» — просматривал газеты, читал письма. Затем появлялись посетители. Долгие годы жил П. Н. Милюков на узкой, с крутым подъемом рю Лериш. Улица была тихая, довольно провинциальная и парижский шум не доносился до его рабочего кабинета. Надо было подняться на второй этаж и позвонить в первую дверь направо. В доме не было лифта, и звонок на дверях тоже был какой то старомодный, его нужно было повернуть. За дверьми раздавались легкие шаги. Открывала всегда приветливая «седовласая курсистка» Анна Сергеевна, или сам Милюков, — постоянной прислуги у них не было. За большой стеклянной и плохо закрывающейся дверью, прямо из передней, была комната, в которой Милюков проводил весь свой рабочий день.

В первую минуту можно было подумать, что в этой, очень скромно обставленной комнате, работают одновременно три человека: журналист, профессор и музыкант. На столе лежали стопки сложенных газет и журналов на разных языках. Какая то совершенно до-потопная пишущая машинка с вращающимся валом и разными шрифтами. Такие машинки исчезли Бог знает сколько лет назад, но милюковский Ремингтон честно нес возложенную на него службу, вал вращался и выступал страницу за страницей. Позже, к 75-летию Милюкова, редакция подарила ему машинку новой, современной конструкции. Он был несколько озадачен и долго не мог к ней привыкнуть. Он вообще был консервативен, к новому привыкал с трудом и говорил на языке, в котором иногда проскальзывали слова и выражения прошлого столетия, например, говорил «осьмнадцать», — современного «восемнадцати» не признавал, как никогда не признал и новой орфографии.

— Для чего, Павел Николаевич, нужна буква «ять», — спросили его однажды.

— Да хотя бы для того, чтобы отличить грамотного человека от неграмотного.

Позже я где то прочел, что именно так ответил на этот же вопрос В. О. Ключевский наследнику престола, которому он преподавал русскую историю.

Для профессора и историка русской культуры в комнате были заготовлены груды книг на разных языках. Книги лежали на полках, на столе, в шкафах, на полу, в ящиках. Библиофилом Милюков был всю свою жизнь. Свою первую библиотеку он начал собирать еще в моло-дости, в Москве, проводя часы у букинистов Сухаревки, на Красной Площади, у антикваров на Николаевской. Из каждой такой экспедиции он возвращался домой на-груженный целями книгами, которые тотчас же лю-бовно устанавливали на полках, по соответствующим от-делам. Библиотека последовала за Милюковым в его рязанскую ссылку, оттуда в Болгарию, из Болгарии со-вершила обратное путешествие в Петербург. Во время войны все это ценнейшее собрание книг было отпра-лено в Финляндию, в глухую деревушку, — настолько глухую, что след библиотеки одно время был потерян. Разыскал ее представитель хуверовской организации проф. Голдер и, по соглашению с владельцем, привез в Америку. Тут библиотеке было суждено последнее ис-пытание: пароход потерпел крушение, груз погиб, но книги все же удалось спасти. В конце концов, библио-тека нашла окончательное прибежище в стенах Кали-форнийского Университета.

В парижский период П. Н. начал собирать новую библиотеку и теперь уже отправлялся за книгами не на Сухаревку, а на набережную Сены, рылся в пыльных ларьках и всегда возвращался домой с пакетом редких книг, — об истории Московии или томиками латинских или греческих классиков. М. А. Алданов, впрочем уве-рял меня, что «ценнейшие» находки на набережной Се-ны Павел Николаевич сделал всего «раза два» в жизни, — все остальное были просто нужные ему книги. Под конец, на квартире на рю Лериш набралось свыше 5.000

томов. Библиотеку эту во время оккупации Парижа захватили немцы и вывезли ее в Германию, — там она бесследно пропала, как пропали и все книги Тургеневской Библиотеки. Но эвакуировавшись из Парижа в Монпелье Павел Николаевич немедленно приступил к созданию новой, третьей по счету библиотеки. Ему шел уже девятый десяток, но возвращаясь из прогулок он неизменно приносил в свой скромный номер гостиницы новые книги, на которые тратил последние деньги.

В углу рабочего кабинета на рю Лериш стояло старенькое пианино и на нем — бережно уложенная в футляр скрипка. Павел Николаевич играл на ней в свободное время, но свободного времени у него было мало. Все же, скрипка извлекалась из футляра почти всякий день, а раз в неделю в этой квартире собирались люди, ничего общего с политикой не имевшие, — друзья из музыкального мира. Павел Николаевич немедленно ожидал и доставал ноты. Он любил камерную музыку и с увлечением разыгрывал сонаты по несколько часов подряд, причем играть большей частью приходилось с музыкантами очень сильными. Пьер Любошиц, игравший иногда на рю Лериш, рассказывал мне что профессионалы относились снисходительно к «мазавшему» временами скрипачу.

Однажды, видя, с какой поспешностью он заканчивает статью, чтобы отправиться на концерт, я спросил Милюкова, что он предпочитает: музыку, или писание передовиц? Павел Николаевич смущился необычайно, словно задал я ему каверзный вопрос по поводу новой тактики кадетской партии. Он даже не сразу нашел ответ, что случалось с ним редко, — видимо вопрос этот ему самому никогда не приходил в голову. Потом подумал и, как всегда очень серьезно и деловито ответил, что, конечно, он *любит* музыку, но *привык* к писанию передовиц.

Музыка была большой страстью Милюкова. Ради музыки он готов был даже уйти из заседания, а заседаний у него было много... Собственно, и знакомство на-

ше произошло в заседании. В 1922 году в Париже группа студентов-республиканцев попросила П. Н. Милюкова помочь написать программу. Помню, как убеленный сединами, знаменитый политический деятель, бывший лидер думской оппозиции, приезжал по ночам в кафе и помогал совсем тогда молодым Е. М. Винаверу, И. Я. Савичу и мне вырабатывать «платформу» и тактику, и делал это так же серьезно, словно речь шла о российской конституции.

В заседаниях или на докладах П. Н. Милюков делал записи на клочках бумаги, вел нечто вроде «протокола» для себя, и записи эти тщательно сохранял потом десятки лет. М. А. Алданов в своем некрологе о Милюкове в «Новом Журнале» рассказал очень характерный эпизод. В Париже готовились к чествованию народного социалиста Н. В. Чайковского по поводу его 75-летия. Н. Д. Авксентьев и М. А. Алданов обратились к Милюкову с просьбой выступить с небольшой речью. Он тотчас дал согласие. — «Одно только», — сказал он, — «не знаю, какую бы избрать тему? Разве вот что: я когда то слышал в Лондоне доклад, который Николай Васильевич читал в ... году». Не сохранил точно в памяти, какой именно год назвал Милюков, но это был очень, очень давний год, год — девятнадцатого столетия. — «Неужели вы помните, что тогда Н. В. говорил!» — «Да ведь это у меня записано, я могу найти» ответил Павел Николаевич. Мы только развели руками: со времени доклада Чайковского прошли десятилетия, и какие десятилетия! Была революция, эвакуация, эмиграция. Уезжая в 1917-18 году из Петербурга, из Киева, из Одессы, Милюков всюду возил с собой сотни чужих докладов, и теперь, в Париже, у него хранилась запись доклада, прочитанного 30-40 лет тому назад, и он мог ее найти на полках своей огромной библиотеки!»

Одна такая запись случайно сохранилась в моих бумагах. Происходило публичное чествование б. министра и депутата Мариуса Мутэ, большого друга и за-

ступника русских эмигрантов. Во время заседания я был очень занят с Мутэ. Павел Николаевич невозмутимо записывал речи ораторов на полях программы. После заседания он протянул мне свою запись:

— Вот вам материал для отчета. Я, конечно, только резюмировал содержание речей. Может быть, пригодится.

«Резюмэ» было настолько полным, что мне осталось только его переписать и целиком вставить в отчет.

**

В течение ряда лет, ежедневно посещая Палату Депутатов и Сенат и встречая там парламентариев, специально интересовавшихся русскими делами, я был как бы посредником между ними и Милюковым. К числу их принадлежали Луи Роллан, Мариус Мутэ, Анатоль де Монзи, которого Милюков часто и усиленно критиковал на страницах «Последних Новостей» за его политику сближения с Сов. Россией. В 1924 году, после победы Народного Фронта, правительство Эррио немедленно признало СССР и тогда же была создана Франко-Советская конференция по урегулированию претензий французских держателей русских ценных бумаг. Конференция заседала под председательством де Монзи, заседала несколько лет подряд, но, конечно, советское правительство так и не уплатило ни гроша французам, покупавшим займы царского правительства. Время от времени де Монзи любил сделать «пробный ход» или осведомить французское общественное мнение о препятствиях, которые чинил ему глава советской делегации, полпред Раковский. Делал он это почему-то не непосредственно, а через «Последние Новости»: вызывал меня к себе на квартиру, на Кэ Вольтэр, и давал информацию, — конечно, без права ссылки на источник. На следующее утро информация появлялась в «Последних Новостях», а вечером ее перепечатывал с ссылкой на русскую газету официоз Кэ Д-Орсэ «Тан». Де Мон-

зи, потерявший к тому времени не мало иллюзий, достигал своей цели, а я чувствовал себя «королем информации».

Однажды де Монзи позвонил и попросил зайти по личному делу. Я приехал через час в дом на Кэ Вольтэр, поднялся по монументальной лестнице; помню хорошо, что в этом же доме жила артистка «Комеди Франсэз» Сесиль Сорель. Де Монзи принял меня в кабинете, окна которого выходили на набережную. Горел камин. Сенатор, как всегда, был в берете, который прикрывал его лысую голову. Он ходил по комнате, припадая на одну ногу и сначала заговорил со мной о недавнем убийстве директора советского банка в Париже Дмитрия Навашина, с которым его связывала личная дружба. Навашин был человеком интересным, культурным, любил писать по экономическим вопросам и взгляды его, конечно, не всегда совпадали с «линией» Москвы. Убили его при весьма загадочных обстоятельствах, во время утренней прогулки в Булонском Лесу, ударом кинжала в грудь. Преступление это так и осталось нераскрытым и это очень волновало де Монзи. К моему удивлению сенатор сказал, что он подозревает «кагуляров», — в те годы в Париже существовала такая крайне-правая террористическая группа, совершившая несколько покушений. Но какое отношение к кагулярам мог иметь Дмитрий Навашин? Я высказал предположение, что корни преступления следует искать в Москве: Навашин знал слишком много, в правильности советской экономической политики сомневался, и его связи с иностранными капиталистическими кругами могли показаться ГПУ подозрительными и нежелательными. Кто знает, на кого, в сущности, работал Навашин?

Де Монзи остановился, подумал и медленно сказал:

— Да... Возможно, конечно. Все возможно... Но я пригласил Вас для другого разговора. Передайте Милькову: у Вас в редакции сидит тайный советский осведомитель. Имя каждого посетителя редакции «Послед-

них Новостей», имя каждого автора статьи, каждый шаг Милюкова, — все немедленно становится известным ГПУ.

— Позвольте Вам задать вопрос: откуда Вы все это знаете? — спросил я, как громом пораженный.

— Из первоисточника, — ответил де Монзи. От Рако...

Так сокращенно называл он полпреда Раковского.

— Рако мне недавно сказал, — продолжал сенатор, — что он отлично знает, из каких источников Милюков получает информацию о франко-советской конференции. «Я, — сказал Рако, — осведомлен обо всем, что происходит в редакции Милюкова. Знаю каждый его шаг, и знаю это буквально через час».

В этот же вечер я передал Павлу Николаевичу содержание нашего разговора. Впервые я увидел, как Милюков растерялся, и как затем лицо его налилось кровью — это случалось с ним очень редко, лишь в минуты большого негодования. Предъявлено было страшное обвинение, подозрение невольно ложилось на каждого члена редакции, на каждого служащего газеты. Мы долго ломали себе голову, пытаясь найти провокатора. Пример Азефа учил, что провокатором может быть и лицо, менее других подлежащее подозрению. Кому в Обще-Воинском Союзе, до похищения ген. Миллера, могло прийти в голову заподозрить в предательстве ген. Скоблина?

Имя «нашего» провокатора никогда установлено не было. Но предупреждение де Монзи оказалось полезным, — Павел Николаевич принял некоторые меры предосторожности.. Теперь, когда «Последние Новости» больше не существуют, и мы знаем имена тех немногих сотрудников газеты, которые вернулись в СССР или открыто стали советскими агентами в Париже, имя провокатора было бы не трудно установить. После войны в Париже называли одно такое имя: человек этот был скромным, мало заметным, в редакции играл второстепенную роль. Он вернулся в Москву и там через несколько лет умер. Не

знаю, на чем было основано это обвинение: никаких доказательств получить я не мог.

**

Это — не опыт политической биографии или характеристики Милюкова, это просто воспоминания его сотрудника. Но воспоминания трудно отделить от некоторых чисто политических моментов.

Личные амбиции были Милюкову абсолютно чужды. Он никогда не выдвигал себя на первое место, — выдвигали его обстоятельства. Если ему приходилось писать о событиях, в которых он лично играл первенствующую роль, то писал он, как историк, и своей роли уделял ровно столько внимания, сколько требовалось для уяснения этих событий. Приведу только один пример. В совещании 3 марта 1917 года Милюков, — единственный из всех присутствовавших членов Прогрессивного Блока, тщетно уговаривал вел. князя Михаила Александровича не отрекаться от трона, спасти монархию, династию и Россию. По иронии судьбы, лидер думской оппозиции оказался в роли последнего защитника монархии! И в «Воспоминаниях» он уделяет этому событию две странички, а своему выступлению — десять строк.* Признаюсь, я долго не мог понять, каким образом человек, произнесший речь «Глупость или измена?» мог 3 марта уговаривать великого князя принять корону. Однажды, набравшись духа, я спросил об этом у П. Н., — иногда я задавал ему вопросы такого рода, которые профессор-историк мог услышать от своих слушателей. Вот короткий ответ, который он мне тогда дал, — ответ этот сразу объяснил мне тогдашние подлинные настроения Милюкова:

— Речь, в которой я предоставлял слушателям решить, «глупость» это, или «измена», была произнесена

* П. Н. Милюков. «Воспоминания», т. 11, стр. 316. Изд-во имени Чехова.

в Думе с целью предотвратить, а не вызвать революцию. Я знал, что революция во время войны приведет Россию к величайшей катастрофе. В том же самом плане, пытаясь предотвратить катастрофу, я уговаривал Михаила Александровича принять корону. Очень трудно гадать, что произошло бы, если бы великий князь последовал тогда моему совету. Думаю, Россия могла быть спасена.

Меня всегда поражало в Милюкове его личное мужество, полное презрение к опасности и к оскорблением противников. Хорошо его знал B. A. Оболенский говорил, что «рефлекс страха» был Милюкову совершенно чужд. Он стоял выше оскорблений, — в этом отношении сотрудникам газеты было чему у него поучиться. Одно время «Возрождение» из номера в номер принялось меня травить за интервью с депутатом Мариусом Мутэ, который обвинил возрожденцев в гитлеризме и антисемитизме. Ренников зубоскалил; Лев Любимов, усердно поработавший на Гитлера, благополучно вернувшись затем в Москву вместе с другими советскими «патриотами», защищал чистоту риз «национальной эмиграции»; Алексеев, оказавшийся тайным советским агентом, также подливал масла в огонь... Кампания приняла столь неприличный характер, что я пришел к П. Н. за советом: отвечать полупочтенному органу Абрама Гукасова, или привлечь «Возрождение» к суду?

— Я бы вообще оставил все это без внимания, — ответил Милюков. — Ведь вот, меня они оплевывают изо дня в день, а я не обращаю внимания.

У меня невольно вырвалось:

— Что же, Павел Николаевич, — Вы, быть может, уже привыкли, а я — нет.

Милюков засмеялся и затем было решено ответить на страницах газеты.

Он, действительно, «привык». Те, кто видели его после возвращения из Берлина, где в Милюкова стрелял Шабельский-Борк и где был убит B. D. Набоков, прикрывший П. Н. своим телом, были поражены стран-

ным, почти нечеловеческим спокойствием Милюкова. Об-этом же исключительном хладнокровии и презрении к личной опасности свидетельствуют люди, видевшие Павла Николаевича в Таврическом Дворце в те дни, когда он был «Милюковым дарданельским», шел наперекор народной стихии, стоял за сохранение монархии и продолжение войны до победного конца. Взгляды свои он отстаивал не только в думской среде, но и на солдатских митингах. Те, кто слышали Милюкова на митинге в цирке Модерн, где он доказывал неистовавшим солдатам, что России нужны Константинополь и проливы, знают, что в эту ночь он сознательно рисковал головой.

Думаю, очень опасный период в его жизни был, когда он провозгласил в эмиграции свою «новую тактику». Нужно помнить, в какое время Милюков начал борьбу с интервенционистами, мечтавшими о «весенном походе на Россию». Эмиграция в подавляющем большинстве состояла из остатков Белых Армий. Командный состав во главе с Кутеповым стремился сохранить кадры. По мнению военных кругов, вооруженная борьба с сов. властью была прервана лишь на время; она может и должна возобновиться в благоприятный момент.

«Новая тактика» Милюкова сводилась к отказу от гражданской войны и интервенции. Большевистское иго должно быть сброшено не иностранным вмешательством и не новым походом Белых Армий, а внутренними силами страны, при чем падению диктатуры будет предшествовать длительный период постепенной эволюции и организации внутри СССР сил, враждебных диктатуре партии.*

* Следует помнить, когда была провозглашена «новая тактика». В германо-советской войне Милюков был оборонцем, отлично понимая, что Гитлер не мог принести России освобождения, но лишь замену большевистской диктатуры диктатурой нацистской. Можно только гадать, в свете нынешней политики Хрущева, какую позицию занял бы Милюков в третьей мировой войне, в случае вооруженного конфликта между СССР и западными демократиями.

Милюков шел в эти годы гораздо дальше, — он призывал эмиграцию понять историческую законность революции и признать ее подлинные «завоевания», отделив их от коммунистической лжи. Теперь многое из того, что говорил тогда и писал Милюков споров больше не вызывает. Но в те далекие годы «новая тактика» казалась многим попыткой «разложения кадров», развала Белого Движения, подрыва всей его идеологии. Милюкова охраняли. Мы знали, что у Таборицкого и у Шабельского-Борка были последователи, поставившие своей целью «ликвидацию» ненавистного политического деятеля. Такое же отношение к Милюкову наблюдалось не только в военных, но и в церковных кругах... Однажды сотрудник газеты Н. П. Вакар отправился интервьюировать митрополита Евлогия, у которого в это время гостили приехавший из Сремских Карловац митрополит Антоний.

Н. П. Вакара ввели в комнату, где на диване восседали владыки.

— Вот, Владыка, — сказал мягко митрополит Евлогий, — Николай Платонович Вакар, сотрудник газеты Милюкова...

Будучи верующим, Н. П. Вакар подошел под благословение к старшему митрополиту Антонию. Глава Зарубежного Синода на мгновенье задержал поднятую для благословения руку, подумал и, перекрестив, наконец, крамольного журналиста, сказал:

— Ну, Господь простит! Господь простит...

Работа в газете Милюкова почтилась грехом, который лишь один Бог мог простить.

**
*

Прошло несколько лет. С «новой тактикой» эмигрантская масса примирилась, «Последние Новости» из ненавистного органа превратились если не в любимую, то, во всяком случае, необходимую газету. Это было интересное явление: правая эмиграция не желала читать

идеологически близкое, но скучнейшее «Возрождение», предпочтая ему левые «Последние Новости».

Когда в 1929 году П. Н. Милюкову исполнилось 70 лет, друзья и политические единомышленники решили устроить его юбилей. Милюков согласился на чествование, ему лично совершенно не нужное, из соображений политических. Предполагалось, что юбилей превратится в своего рода смотр демократическим силам эмиграции и в какой-то степени это могло быть полезно и газете.

Думаю, в эмиграции не было второго такого чествования. Юбиляру был посвящен специальный сборник со статьями М. А. Алданова, В. Мякотина, А. Кизеветтера, В. Португалова, П. Бицилли, В. Оболенского, М. Ганфмана, Е. Д. Кусковой, А. Ф. Керенского, В. М. Зензинова, М. В. Вишняка, О. Груzenberga, И. Гессена и мн. других. Комитет собрал средства на переиздание переработанных и дополненных «Очерков по истории Русской Культуры». Болгарское Народное Собрание поднесло верному другу и защитнику болгарского народа 270. 000 лева. Благодаря этому дару П. Н., скромно живший на свое редакторское жалование и случайные литературные заработки, смог приобрести дом на Юге Франции. Юбилейные собрания происходили не только в Париже, но в Праге, Варшаве, Риге, в Софии... В Париже чествование продолжалось два дня. Было публичное собрание в зале Океанографического Института, на котором выступили бесчисленные ораторы, представители русских и иностранных научных учреждений. На следующий день, в зале отеля Лютеция состоялся банкет с участием 400 человек. Поток красноречия был приостановлен только в 2 часа утра...

Помню ответное слово Милюкова. Он не растерялся от «горячего потока любви», который почувствовал в этот вечер, и сказал очень интересную речь о связи исторического прошлого с будущим России. Был в этой речи ответ друзьям и врагам и по личному вопросу.

— Говорят, — сказал юбиляр, — что политик Ми-

люков повредил Милюкову историку. Задача заключается в том, чтобы бросить политику и вернуться к научной работе.

Но Милюков тут же разъяснил, что никогда не разделял этих сторон своей деятельности. Многое станет понятно историку, если он научится понимать настоящее время.

— Связать прошлое с настоящим, — такова была задача всей моей политической деятельности. Историк во мне всегда влиял на политика, позволял связывать текущий момент с прошлым и будущим.

Говорили на банкете послы славянских государств, сенатор Жюстен Годар, депутат и академик Жозеф Бартелеми, представители русского и французского политического и академического мира... Не обошлось и без курьеза. Председательствовавший на банкете долголетний друг и единомышленник П. Н., милейший С. А. Смирнов, провозгласив тост за юбиляра от волнения перепутал его имя-отчество и сказал:

— Многоуважаемый Николай Павлович...

Но эта ошибка потонула в смехе и аплодисментах друзей Милюкова.

**

Вопреки утверждениям самого Милюкова, друзья его всегда чувствовали, что политика и журналистика в какой то мере помешали ему выполнить ту громадную научную работу, к которой он был подготовлен и к которой стремился всю свою жизнь. Для работы этой не оставалось времени.

Вдумчивый и проницательный исследователь петровской эпохи, автор капитального «Государственного хозяйства России в первой четверти века» и «Очерков по истории Русской Культуры», Милюков уже в молодости занял выдающееся место в русской исторической науке. Достаточно сказать, что один сухой библиогра-

фический перечень научных трудов П. Н. Милюкова, составленный Б. Евреиновым в 1930 году, занял 38 печатных страниц. Но и после 30 года, несмотря на перегруженность газетной, общественной и политической работой, он значительно удлинил свой научный «послужной список».

Как то вышло, что прослушав множество докладов и речей Милюкова, я никогда не слышал его в качестве лектора-историка. Но в 1926 году, задумав написать для моей книги «Старый Париж» очерк о пребывании Петра Великого во Франции, я обратился за какой то справкой к Милюкову. Было это в редакции. Павел Николаевич выслушал мой вопрос, как то сразу оживился и начал говорить о Петре. Сначала в рамках моего вопроса, а затем увлекся и прочел мне настоящую лекцию. Рассказывал он так, как говорил бы о Петре его учитель В. О. Ключевский, и царь вдруг стал для меня понятным, живым и близким... Слушать Милюкова всегда было наслаждением. Был он оратором англо-саксонского типа: говорил спокойно, избегал всяческого пафоса, цветистых образов, красивых фраз, почти не жестикулировал, не пользовался голосовыми модуляциями. Был у него один, очень характерный жест, — он слегка выдвигал вперед правую руку, словно что то выкладывал перед слушателем на кафедре, и это помогало воспринять его слова. Форма всегда подчинялась содержанию речи; для Милюкова вообще важна была не форма, а основная мысль. И, вместе с тем, как то естественно получалось, что и с точки зрения стилистической выступления Милюкова всегда бывали блестящими. Он говорил на прекрасном, очень точном московском языке. Стенограмму его речи можно было печатать без правки. Я знал ораторов «Божьей милостью», гремевших в свое время на всю Россию, и никогда не мог понять секрета их успеха. Начав фразу, они никак не могли ее закончить. Мысль постоянно перескакивала, чисто грамматическое построение фраз было беспомощным. У Милюкова этого быть не могло.

**

Однажды мы говорили о молодом ученом, делавшим быструю карьеру.

— Профессор? — переспросил меня Павел Николаевич. — Когда же и где он успел стать профессором?

И, иронически улыбаясь:

— Теперь во всей эмиграции остался один приват-доцент: Милюков. Все остальные — давно уже профессора.

**

Ничто человеческое не было Милюкову чуждо. Он был очень упорен и даже упрям в достижении своих целей, но как опытный политический деятель знал, когда нужно выбрасывать балласт и идти на уступки. Своим положением лидера никогда не пользовался, — при всех обстоятельствах оставался очень простым в обращении с людьми, для всех доступным, — в нем был подлинный, настоящий демократизм. Сотрудники к нему всегда входили без доклада; он не понимал, как можно не подойти к телефону, независимо от того, кто и в какое время ему звонил.

У него была репутация человека сдержанного, холдного, чуть ли не бессердечного, а мы, его ближайшие сотрудники знали, что у «Папаши» доброе сердце, что он беспокоится за друзей, попавших в беду, за больных журналистов, готов всячески им помочь, — и не только из редакционной кассы, но и из собственного кармана, в котором никогда не было много денег.

В качестве примера «бесчувственности» Милюкова мне рассказывали, как в тот день, когда пришло известие, что на фронте убили его любимого сына Сергея, Павел Николаевич приехал, как всегда, в редакцию, чтобы написать передовую статью. Но прочтите, как он написал в своих «Воспоминаниях» о гибели Сергея, и вы почувствуете, какую неизгладимую и неизлечимую рану

оставила эта смерть в его сердце. В данном случае имело место не бесчувственность, а чувство долга.

Откуда же пошла эта легенда? Я лично видел однажды плачущего Милюкова. Случилось это на следующий день после кончины его жены Анны Сергеевны, которую все сотрудники газеты очень любили. Узнал я о ее смерти поздно ночью, а на следующее утро поехал на квартиру на рю Лериш. Павел Николаевич никого не принимал, но о моем приходе ему сказали и он пошел меня увидеть.

Он начал мне рассказывать о болезни и об обстоятельствах смерти Анны Сергеевны и вдруг, не выдержав, разрыдался:

— Я бы хотел иметь ее фотографию в гробу, — сказал он. — Распорядитесь пожалуйста. И потом надо написать о ней. Я Вам дам некоторые сведения.

Он начал собирать отрывочные данные из ее биографии. Помню, я не без удивления узнал, что была она из духовной семьи, что отец ее был протоиерей. Как же вышла она замуж за политически неблагонадежного и, к тому же, абсолютно неверующего молодого ученого? К моему удивлению, П. Н. не знал года рождения жены или не мог его вспомнить.

Время от времени он останавливался, вытирая глаза и покрасневшее от слез лицо. Это был единственный раз, когда Милюков произвел на меня впечатление беспомощного старика, — представление это как то не вязалось с ним. Все в редакции были значительно моложе Милюкова, и все вечно жаловались на усталость, болезни и, помню, как Дон Аминадо, в один из своих мрачных дней, сказал:

— Павел Николаевич оскорбляет редакцию своей молодостью и энергией.

Но в этот день он не был ни молод, ни энергичен. Впрочем, даже и при этих обстоятельствах Милюков оставался верен самому себе. Когда я уходил, он уже несколько успокоился и возобновил чтение французской книги Андрея Левинсона «Патетическая жизнь Достоев-

ского», прерванное моим приходом. На следующий день, еще до похорон, он прислал в редакцию полемическую заметку против «Возрождения» и, чтобы заметка не появилась одновременно с отчетом о похоронах Анны Сергеевны, ее задержали до воскресенья.

Это было в феврале 35 года. Несколько месяцев спустя он женился на Нине Васильевне Лавровой. Это была старая его привязанность, и мы надеялись, что вторая жена даст Милюкову тот уют и семейный комфорт, которого он совсем не имел при «курсистке» Анне Сергеевне. Вышло совсем не так, как мы предполагали. Я бывал на новой квартире Милюкова, который поселился в доме номер 132 по бульвару Монпарнас. Те же груды старых газет, но кресла с лета оставались в пыльных чехлах, хотя был уже конец декабря, а стеклянная дверь из столовой в кабинет была, вместо занавески, за克莱на газетными листами. И попрежнему Павел Николаевич обедал не в столовой, а закусывал наспех на краю своего рабочего стола, среди бумаг, писем и рукописей. Вероятно, внешний уют и комфорт были не так уж ему необходимы, потому что с Ниной Васильевной он был по своему счастлив.

**

В редакции я был самым молодым по возрасту сотрудником и, естественно, испытывал перед Милюковым чувство восторженного преклонения. Должен сказать, что и Павел Николаевич относился ко мне исключительно благожелательно. В 1924 году, сейчас же по окончании мои Школы Политических Наук, Милюков назначил меня парламентским корреспондентом газеты. Пост этот был ответственный, — политической информации и парламентским прениям в «Последних Новостях» уделяли место неограниченное, — отчет о бурном заседании Палаты занимал иногда всю первую страницу. Не всем это назначение пришлось по вкусу.

Через год или два в истории «Последних Новостей»

состоялось единственное редакционное совещание, к участию в котором П. Н. Милюков привлек всех сотрудников газеты. Не помню теперь, с какой именно целью совещание было созвано. Павел Николаевич сказал вступительное слово и предложил желающим высказать свои критические замечания.

Первым выступил старый социалист, писавший в газете желчные статьи на политические темы. С места в карьер он заявил, что все было бы хорошо, если бы парламентские отчеты составлялись менее пристрастно.

— Наш парламентский референт приводит речи Леона Блюма в весьма сокращенном и урезанном виде. Но когда говорит Тардье, — тогда не стесняется ни размером отчета, ни лестными для оратора ремарками. Седых может не любить Леона Блюма, но проявлять свои личные чувства в отчетах не следовало бы!

Атака была прямая и довольно неожиданная. Милюков очень твердо и спокойно ответил недовольному публицисту:

— Это уж я беру на свою ответственность. Мы, все таки, газета не социалистическая, — и наши друзья с левого фланга это временами забывают. Должен добавить, что отчеты Седых соответствуют политической линии газеты и редакцию удовлетворяют.

В воспоминаниях очень трудно избежать «ненавистного я», — на то это и воспоминания... Приведенный эпизод очень характерен для Милюкова. Но умел он не только жаловать, но и казнить. Был случай другого порядка, когда Павел Николаевич не на шутку на меня рассердился.

В эмиграции в эти годы процветал Ив. Наживин, автор довольно бездарных романов, в которых, он, заодно, сводил и личные счеты. Наживина я никогда в жизни не встречал, жил он, если не ошибаюсь, в Брюсселе, но почему то, вместе с некоторыми другими сотрудниками газеты, избрал меня своей мишенью. Широко использовал мою фамилию в романе «Неглубоко-уважаемые», а затем начал писать письма в редакцию.

Письма эти летели в корзину, но он упорно писал их, обливая меня грязью. И, в один прекрасный день я не выдержал, взял открытку и написал на ней:

— Неглубокоуважаемый Андрей Седых посыпает Вас, г. Наживин...

Далее следовали три весьма непечатных слова и подпись.

Через несколько дней Милюков вызвал меня в кабинет. Я никогда не видел его таким возмущенным. Строго и внимательно он посмотрел на меня через свои профессорские очки в тонкой металлической оправе и спросил:

— Это вы написали открытку Наживину?

Злополучная открытка лежала перед ним на столе. Я объяснил, напомнил ему о романе Наживина, о бесконечных его выпадах, переходящих все границы приличия...

— Поведение Наживина мне совершенно безразлично, — сказал П. Н. — Но за вас я несу моральную ответственность. Наживин прислал мне жалобу не как редактору «Последних Новостей», а как председателю Союза Писателей и Журналистов. Наживин человек такого порядка, что жалобу его можно оставить без внимания. Но, по правде говоря, подобного безобразия от вас я не ожидал.

Лицо Милюкова было багровым, но и мое стало заливаться краской. Внезапно, тон Павла Николаевича смягчился:

— Вы очень молоды и можете брать с меня пример. Верьте, к таким способам полемики никогда прибегать не следует. Открытка возвращается отправителю, — можете ее уничтожить.

Он внимательно посмотрел на меня, убедился, что мне стыдно и, слегка улыбнувшись, сказал:

— Ну ладно. У вас там в редакционной комнате кажется все так выражаются.

**

В ночь на 14 июня 1940 года Р. Словцов и Н. П. Вакар выпустили последний номер милюковской газеты и ушли из типографии домой по очень тихим, насторожившимся улицам Парижа. Город был пустой: население его оставило. Немцев ждали только через день или два, но к вечеру этого 14 июня они были уже в Париже. Р. Словцов решил остаться; Н. Вакар в полдень успел сесть на велосипед и укатил к семье, в город По.

Предполагалось, что французское командование остановит наступление немцев где то на линии Тура и что мы сможем возобновить газету в Пуатье. Мне было поручено подыскать помещение для редакции.

В Пуатье царил хаос, но где то неподалеку от вокзала я нашел две свободные комнаты, снял их и ушел ночевать в другое место. Мне не понравилась близость железнодорожных путей, забитых составами и самолеты, которые все время кружились над вокзалом. На утро я вернулся, но редакционного помещения уже не было. На месте его лежала груда развалин. Ночью был воздушный рейд, немецкие самолеты сбросили над вокзалом бомбы и весь район был разрушен.

В тот же день я выехал в Бордо, встретил там Б. С. Мирского и от него узнал, что П. Н. Милюков находится в Виши. После заключения перемирия Виши превратилось в столицу петэновской Франции, оставаться там было неудобно, и Милюковы переехали в Монпелье, где собралась часть редакции и административного аппарата газеты: А. А. Поляков, Дон Аминадо, директор Н. К. Волков, администратор В. А. Могилевский и др. Довольно часто стал приезжать из Парижа кап. А. Лукин, открыто начавший сотрудничать с немцами и пытавшийся завербовать себе помощников в среде бывших коллег. За исключением одного единственного случая успеха он не имел. Устроиться в переполненном Монпелье было трудно, и П. Н. Милюков начал переписку с Я. Б. Плонским и со мной относительно возможности его пе-

реезда в Ниццу. Я не советовал, — в Ницце мы уже не доедали и стояла страшная летняя жара. В конце концов, в апреле 41 года, Милюковы переехали в Экс ле Бэн, в тот самый отель, в котором они останавливались до войны, когда приезжали на курорт лечиться.

«Моя комната, писал П. Н. вскоре после приезда А. А. Полякову, — большая, светлая, с балконом, с которого, за задворками, видна верхушка гор по ту сторону озера, так что воздуха не меньше чем на бульваре де-з-Арсо. Я даже не ожидал такой благодати. Для книг — полки садового трельяжа, и я разложил на них весь свой запас. Теперь устроился и с радио, так что вечером уже нашел и английское радио. Утешения, конечно, теперь мало... Среди дня жарко; я выхожу без пальто, а сплю с приоткрытым балконом. Комнатный запах меня преследует и тут, но он лучшего рода, чем в пансионе в Монпелье, и мы его выдержим».

Продовольственное положение во Франции в это время быстро ухудшалось, но и в этом отношении в Экс ле Бэн, было немного лучше. Милюков побывал у врача, тот нашел его состояние удовлетворительным, но посоветовал усилить дозу дигиталиса. Была сердечная слабость и слишком высокое кровяное давление. В общем, переездом своим из Монпелье в Экс он остался доволен и, не теряя времени, приступил к большой научной работе, которую заказал ему из С. Ш. Фонд Карнеги.

При отсутствии нормальных источников, информацию приходилось черпать из писем. Павел Николаевич вел громадную переписку с друзьями и со всеми сотрудниками, оказавшимися в Монпелье, в Ницце и с теми, кто вернулся в Париж. Переписывался с Е. Д. Кусковой, которая настойчиво приглашала его переехать в Женеву, и с теми, кто звали в С. Штаты. В Америку ехать он не собирался и от этой поездки всех нас отговаривал, — считал, что события в Европе развертываются быстро и можно будет возобновить газету.

Так думал он летом 1940 года, когда вишийский ре-

жим еще не проявил своего настоящего лица. А. А. Полякову он писал:

«Из Вашего письма вижу, к своему удивлению, что мне приписывалось авторство плана переезда в Америку. Я с самого начала считал его несбыточным. Но меня удивляет также Ваш пессимизм и скептицизм по отношению к вопросу о возобновлении газеты. Я внимательно читаю здешние газеты, вижу их перекраску, перемену тона и содержания статей одних и тех же сотрудников; но вижу, во первых, исключения, а, во вторых, изменение тона тех же подчинившихся газет — очевидно под влиянием общего настроения. Присмотритесь к этим газетам: они очень занимательны. Может быть, здесь это виднее; поговорим при встрече.

Конечно, «П. Н.» придется вспомнить русскую революционную журналистику; придется и несколько перестроиться; но тут есть и полезная сторона: очень уж мы разъехались в последнее время. Верно то, что со всем этим придется повременить. Но, наблюдая ход событий, я прихожу к заключению, что не так уж долго».

Несмотря на свой оптимизм, Милюков скоро переменил мнение и решил, что при создавшейся политической обстановке и при цензуре вишийского режима возобновлять газету не имеет смысла. Но в конечном поражении Германии он никогда не сомневался, — весь вопрос был только в «сроках». Поначалу Милюков верил в победу быструю. Но через три дня после нападения Германии на Советскую Россию и при первых известиях об отступлении красной армии на всем фронте он писал:

«Что говорить о событиях! Дело развертывается широко и всерьез, — и вспоминается старое изречение Алексея Толстого (не ручаюсь за точность): «От Балтийского до Каспийского, от Урала до Амура — велика Федора — да дура!»

Что будет? Нас этот сюрприз совершенно перевернул, и целые сутки я не мог прийти в себя... Остальные пенсионеры боятся слово вымолвить и ходят около меня,

не то как около зачумленного, не то как смертельно больного. Радио мое не выручает, а обращение к моему пророческому дару только злит. *Все возможно, все — решительно*».

Из другого письма:

«С «оптимизма», конечно, приходится сделать скидку, не меняя, однако, его существа. Рамки картины так развернулись, что в нее, кроме центральных фигур, приходится поместить и разные побочные обстоятельства. Но краски те же».

Федора оказалась не такой уж «дурой» и при первых известиях о победах на восточном фронте, Милюков, в котором российский патриотизм всегда стоял выше всего, воспрянул духом. В каждом письме к своим сотрудникам он призывал к бодрости и терпению. Окончательной победы над нацистской Германией П. Н. Милюков не дождался, но он ее предсказывал, верил в нее и видел ее начало.

Призывы к терпению, лейт-мотив его писем «подождем — увидим» не всегда достигали цели. Материальные условия жизни в свободной зоне Франции непрерывно ухудшались. Сотрудники газеты, оставшиеся без работы и рассеянные по разным городам, несколько раз получали от издательства небольшие субсидии, но основного вопроса это не решало. Те, кому удалось получить визы, ехали в С. Штаты. Кадры газеты таяли, и стало ясно, что если издание ее быстро не возобновится, «Последние Новости» погибнут навсегда. К тому же, среди десятков тысяч русских эмигрантов, оказавшихся в свободной зоне, потребность в своей газете была необычайно велика. И я написал Павлу Николаевичу письмо в этом духе. Мне казалось, что газету, даже на эзоповском языке, возобновить можно и должно — иначе она вообще никогда не возобновится. П. Н. Милюков к этому времени уже переменил свою точку зрения. Вот, что он писал мне 14 января 41 года:

«Мы оба благодарим Вас за память и за поздравление к Новому Году, о котором, конечно, можно думать

различно, но я, в частности, представляю его себе отнюдь не в мрачных тонах. Мой старый оптимизм, о котором друзья отзывались прежде с некоторой опаской и с сомнением, теперь не только не вызывает возражений, но кое-кто уже пошел много дальше меня в этом направлении.

Вы не хотите «сидеть сложа руки» и Ваши надежды возлагаете на Америку. Я думаю, что у Вас, — одного из немногих, есть шансы устроиться по части журналистики в Америке, но только не русской, а американской. Если Вы можете совершить такое превращение, исполать Вам: поезжайте. Если не можете, то окажетесь в сонме тех русских «американцев», которые уже там, а устроиться никак не могут.

Главное содержание Вашего письма — жестокая критика нашего правления по поводу нежелания возобновить «П. Н.». Позвольте мне взять роль защитника. Даже Н. К.* не одними «хозяйственными» расчетами мотивировал свою осторожность. Если бы, действительно, возобновление «П. Н.» было возможно, он, конечно, склонился бы на мою сторону. Но — первое возражение Вам: *какие* это будут «П. Н.»? Вы, конечно, следите и следили за здешней печатью, видите перекраску, понимаете, что приходится защищать, и не можете отрицать, что «П. Н.» не могли и не могут возродиться в прежнем виде. Я тогда уменьшил требования, думал использовать информацию для осторожного проведения нашей идеологии, наконец, согласился сделать пробу, на которую с очень окрыленным настроением шел Зелюк. Что же вышло? Если Зелюк Вам в Ницце говорил то же, что нам здесь, то Вы знаете, что проба наткнулась на очень элементарные возражения и Зелюк прекратил переговоры, когда было поставлено известное расистское требование. После этого было ясно, что не только «П. Н.», но и вообще какая либо русская газета сейчас не воз-

* Директор «Посл. Нов.» Н. К. Волков.

можна. Я было рассчитывал на Париж, но Вы знаете, что там делается. С этих пор нашей целью было сохранить, по крайней мере, часть средств до лучшей поры, когда на самом деле положение будет более благоприятным. По Вашему мнению такое положение уже настало — и Вы ссылаетесь на какие то личные информации. Вашиими устами да мед пить! Но мы этих признаков перемены не знаем. Вы их сообщить не можете и общее положение, при всех симптомах, на которые Вы намекаете, так напряженно, что вместо улучшения, можно ждать даже перемены к худшему. Итак, ни в прошлом, ни в настоящем, Вы защитить своего обвинительного акта не сможете. Вашего покорного слугу могут обвинить ведь не только в том, что он не открыл газету, но и в том, что он навсегда погубил репутацию газеты ее открытием!.. Эти возражения мы уже слышали — и тоже в большом количестве. Почему они для Вас «неубедительны» и как Вы хотите соперничать с Деспотули, для меня не ясно.

Знаете ли Вы, что сам Груzenберг распорядился, чтобы на его могиле не было никаких озательств. Он, очевидно, понимал, что при сложившемся положении эти озательства вышли бы куда беднее, чем это нужно на могиле Груzenberга. Не знаю, что в этом отношении могли бы сделать «П. Н.» того типа, какой Вам рисуется (начиная даже с объявления о смерти).

Я, таким образом, совершенно отрицаю, что была сделана «ошибка», не принимаю субъективных укоров, которые нам направляют, и менее всего боюсь «суда истории», который Вас пугает. Меня несколько успокаивает то, что Вы и сами не собираетесь еще «писать некролог нашей газете». Но чтобы прекратился наш анализ, нужно сохранить финансы — и к этому на ряду с продолжением помочи сотрудникам до известного предела, определяемого первой задачей, направлены теперь общие наши усилия. Я знаю, что кое-кто нас пугает и по этому поводу: Вы, кажется, и сами присоединяетесь к иному, «вынужденному» решению. Но размеры «ящи-

ка» во всяком случае ограничены, и радикального решения он дать не может.

А о новой «попытке», которая может увенчаться успехом было бы всего целесообразнее сообщить Зелюку. С его богатым воображением он, может быть, вернулся бы на покинутую позицию. И мы скоро увидали бы, правы ли Вы в своих утверждениях о новых возможностях.

Не сердитесь на меня за мои критические замечания. Вы сами их вызвали. Из Ниццы до нас доходят не одни только радужные вести. И «тихий город» Монпелье мне пока кажется более предпочтительным.

Примите и наши запоздалые приветствия Вам обоим. Я думаю, наши пожелания на Новый Год вполне совпадают.

Ваш П. Милюков»

По поводу возобновления газеты у нас была длительная переписка. Теперь, задним числом, ясно, что Милюков был прав, — мы не могли бы дать даже честной информации; но случилось то, чего можно было опасаться, — газетный аппарат распался и восстановить его никогда не удалось. В 41 году все это не было очевидно. Несколько раз я приезжал в Виши, говорил с людьми влиятельными и мне казалось, что в какой-то, даже уродливой форме, «Последние Новости» могут выходить. Чем же все это кончилось? После войны (Милюкова уже не было в живых), группа бывших сотрудников газеты, настроенная про-советски, начала выпускать «Русские Новости». От милюковской газеты в этих «Русских Новостях» был только украден шрифт заголовка, да попытка использовать престиж покойного Павла Николаевича, который, конечно, с презрением отверг бы газетку, покорно выполняющую московские задания. Несколько человек, введенных в заблуждение А. Ф. Ступницким, прекратили свое сотрудничество после первых же номеров. Другие умерли. В 1962 году газета эта продолжает выходить, — неизвестно для кого,

но из старой редакции в ней сотрудничают только два человека — Е. С. Хохлов и еще один, имеющий, очевидно, серьезные основания никогда не подписывать свое имя под статьями и информацией.

**

Павел Николаевич прожил восемьдесят четыре года. В суровую зиму 41-42 гг., спасаясь от холода и голода, он переехал в том же Экс лэ Бэн в лучший Отель Интернасиональ, в котором топили и как то умудрялись кормить. В отеле этом жил с женой Дон Аминадо.

«Здесь Аминадо с супругой, писал в Нью Иорк Милюков, и ведет себя под француза. Делаем друг другу визиты: он в нижнем этаже, мы в верхнем. Обсуждаем, по секрету, политику и редакционные воспоминания. Конечно, без объективности».

Дон Аминадо рассказал позже в своей книге «Поезд на третьем пути» об этих последних встречах:

— Закат его был высокий, ясный, олимпийский. Милюков и болел, и умирал, как тургеневский Базаров, любимый его герой. Никогда не жаловался, ни о чем не просил, никого не затруднял, не тревожил.

Кроме Дон Аминадо и «еще нескольких полуоседлых из преследуемого племени», — выражение из письма Милюкова — Павел Николаевич в Эксе почти ни с кем не встречался. Из-за полной изоляции в глухой провинции переписка приняла для него исключительное значение. Узнав, что на пути в С. Штаты мы попали в лагерь в Казабланке, П. Н. огорчился и писал А. А. Полякову: «Печально начало путешествия Седых. Его окольный путь, конечно, полон сюрпризов, и жаль, что он на него решился из-за своего нетерпения. А его еще ждет путешествие в трюме и неизвестность, как встретит его Америка! Есть от чего прийти в уныние. Но он человек жилистый и как нибудь вынесет, а как его жена, уж не знаю». Огорчался, что другой сотрудник газеты, уже успевший добраться до Нью Иорка, устроился на спи-

чечной фабрике Бахметева, — Павлу Николаевичу не могло тогда прийти в голову, что сотрудник этот очень скоро будет приглашен профессором в один из знаменитых американских университетов; волновался он за Осоргина, от которого стали приходить непривычно-мрачные по настроению письма, за Е. Д. Кускову, перенесшую тяжелую болезнь. «Об Осоргине, писал Милюков, доходят такие же вести. Его редкие письма были такие жизнерадостные, что теперешний его упадок кажется очень серьезным и знаменательным». Для М. А. Осоргина уже ничего нельзя было сделать. Он умер 27 ноября 1942 года в местечке Шабри, в нескольких шагах от демаркационной линии, отделявшей свободную Францию от оккупированной. О том, что умирает, знал, и перед смертью с друзьями простился:

— На случай — прощайте, любите меня ушедшим, как любили живым (с критикой, но всегда доброжелательной). Этой записочки не стыжусь: если даже и преждевременная, все же не напрасна, пригодится.

Потом из Парижа пришло известие о смерти Р. Словцова, который буквально в три дня сгорел от гангрены ноги. «Мне всегда казалось, писал П. Н., что он афишировал легкое отношение к трудностям жизни; не знаю, верно ли, но мне кажется, что он сделался жертвой этой черты характера. На печальные мысли наводит эта смерть. Вот Вы «верите» в восстановление «П. Н.». И говорите о его незаменимости. Но так, мало по малу, мы все уходим»... А затем пришло еще одно письмо: в нацистском лагере забили на смерть А. М. Кулишера-Юниуса, незаурядного ученого и блестящего публициста, которого П. Н. в какой то степени считал своим духовным сыном. «Смерть Юниуса в лагере меня тяжко потрясла, писал Милюков А. А. Полякову. Человек этот заслужил лучшей участи, хотя еще в Монпелье мы видели, что он — приговоренный. Но чтобы он так решительно сам пошел навстречу развязке — повидимому вполне сознавая риск и все же продолжая мечтать об Америке и об издании книги, — в этом сказалась его трагедия.

Представляю себе его душевное состояние перед кончиной! Его сознание незаслуженности обиды, нанесенной жизнью, сравнительно с более счастливыми, к которым он относился с презрением... И без возможности потопить ясность сознания в алкоголе! Толстой в своем побеге обрел потерянный мир. Юниус растерзал свои раны и умер мучеником, бросив последний вызов судьбе и людям. Не могу воздержаться от такого сравнения».

В апреле 42 года Милюков перенес плеврит в серьезной форме, но постепенно поправился. В солнечные дни врачи разрешили ему выходить на прогулки, слабость начала исчезать. Е. Д. Кускова умоляла переехать в Швейцарию и, зная Милюкова, соблазняла его богатствами женевской Публичной Библиотеки. Павел Николаевич отказался, — переезд казался ему трудным и пугала высокая швейцарская валюта. Очень ограниченные средства у него еще оставались, но на жизнь в Швейцарии их могло не хватить. Мне всегда казалось, что Милюков отказывался уехать из Франции и по другой причине: он хотел быть «свидетелем истории». Ему предлагали поездку в С. Штаты, где была бы обеспечена спокойная жизнь, — он был доктором «гонорис казуса» нескольких американских университетов, мог получить кафедру и возможность спокойно продолжать свою научную работу. Павел Николаевич отказался, — верил, что события идут быстро, что близится освобождение и ехать незачем: бьет двенадцатый час.

О смерти думать не любил. В загробную жизнь не верил, был абсолютно чужд религии, базаровский «лопух» был для него логическим завершением физического конца. Но, помню, как однажды, еще в Париже, у открытой могилы Г. Б. Слиозберга, он потряс нас, сказав: «Вот здесь, рядом, уже уготовано для меня место. Теперь — моя очередь».

Только в самое последнее время, за несколько месяцев до смерти, что-то начало портиться в этом удивительном человеческом аппарате. Ум его до самого конца оставался светлым и ясным, но в одном из последних

писем поразила фраза, которая так не вязалась с нашим представлением о Милюкове; анализируя свое физическое и душевное состояние он писал: «Сажусь за стол с пером в руке. Хочу что-то написать. Проходит четверть часа, полчаса — я сижу все так же, и ничего не пишу...».

П. Н. Милюков скончался 31 марта 1943 года. За гробом его шли всего несколько человек и никаких «оказательств» не было.

Несколько лет спустя я побывал в Экс лэ Бэн на могиле Милюкова. Кладбищенский сторож сказал, что русские давно выехали из Экса и на могиле теперь никто не бывает. Павла Николаевича похоронили на временном участке, срок могильной «концессии» кончался. Меня предупредили, что если в течение ближайших месяцев тело не будет перенесено на другой, постоянный участок, могилу уничтожат. Бывшие сотрудники газеты за волновались и приступили к сбору нужных средств. Но вскоре мы с удовлетворением узнали, что сын покойного, Николай П. Милюков, с которым я вступил по этому поводу в переписку, принял нужные меры. Тело П. Н. Милюкова было перенесено в Париж, на кладбище Батиньоль, в семейный склеп, где уже покоилась Анна Сергеевна. Над могилой его теперь стоит скромный памятник.

СТАРОСТЬ ГЛАЗУНОВА

КРОШЕЧНАЯ квартирка, где-то в глубине Було-ни, под Парижем, приютила старость Глазунова. В 30 году жил он в доме № 32 по Авеню Жан Батист Клеман. Чтобы попасть к нему, нужно было пройти со двора, подняться по наружной лестнице на деревянный балкон, на который выходили двери дешевых квартир, и дернуть железную скобку. Раздавался дребезжащий звонок, а потом слышались шаги. Дверь открывал Александр Константинович, — тяжелый, грузный, медлительный в движениях.

Под гостиную была отведена небольшая комната, обставлена случайной мебелью. Но не бедность обстановки бросалась прежде всего в глаза, а громадные лавровые венки с лентами, скрывающие дешевенькие обои на стенах. Глазунов перехватил мой взгляд и сказал:

— Поднесли на концерте... Такое впечатление, что я уже умер, лежу в склепе и вот — венки возлагают...

В эти последние годы Александр Константинович начал сильно сдавать. Сидел он насупленный, глядя перед собой какими-то стеклянными, неподвижными глазами, опустив голову на грудь. Говорил тихим голосом, с трудом подбирая нужные слова, — потом я узнал, что он и в молодости говорил не громко и медленно. Распухшими, с трудом подчинявшимися ему пальцами, Глазунов играл массивной золотой цепочкой с брелоками, оставшейся еще с петербургских времен. Цепочка эта, висевшая через весь его жилет, всегда меня почему-то умиляла: было в ней нечто солидное, купеческое, да и сам Глазунов всей своей внешностью никак не походил на композитора, а скорей на купца первой гиль-

дии. Говорил он неохотно, лаконично, но часто задавал вопросы и, казалось, слушал внимательно и обдумывал каждое слово собеседника.

Большую часть дня Александр Константинович прописывал в кресле, у окна. В теплые дни окно было раскрыто, виднелись верхушки акаций в чужом саду и Глазунов, медленно раскуривая сигару, говорил:

— Конечно, это не то, что в Озерках... Там у меня была огромная рабочая комната, рояль, сад чудесный. Дом стоял на берегу небольшого озера... Ходил я по дорожкам, птиц слушал, думал, сочинял... А тут все больше слышишь радио из чужих квартир. Очень громко. Полезное изобретение, а жить мешает и постепенно превращается в страшное зло... В Озерках не так было, хорошо там летом работалось. Но и здесь продолжаю сочинять. Вот, над Седьмым квартетом работаю. Мысль меня не покидает. Я люблю поработать. Человек усидчивый. У меня всегда так было: чем труднееается, тем лучше выйдет.

Пауза. Неожиданное предложение:

— Вот и сегодня утром работал, до радио... Хотите послушать?

— Конечно, Александр Константинович.

Глазунов с трудом выбирается из кресла и усаживается за пианино. Распухшими от подагры, негнувшимися пальцами, берет несколько пассажей, прислушивается, и вдруг обрывает, захлопнув крышку:

— Нет, не могу играть. Не бегают пальцы. Надо сказать правду, я всегда был плохим пианистом... Играли, но плохо, хотя говорили, что выразительно. Пианиста из меня не вышло. Вот Балакирев был прекрасный пианист. Не то, что Римский-Корсаков или Александр Порфириевич...

— Это кто, Александр Порфириевич?

Глазунов посмотрел с удивлением и полузакрыл глаза, словно невежество мое его смущило.

— Один был Александр Порфириевич! Бородин. Но вы — молодой, не могли его лично знать... И с Балаки-

ревым судьба меня свела еще в детстве, неожиданным образом. В 1877 году одна моя родственница хотела брать уроки фортепиано. Балакирев нуждался, обратился к нему. Приходит он на урок, а мамаша показывает ему мое детское маранье. Сочинять, надо сказать, я начал очень рано... Был я тогда совсем ребенком, не имел самых элементарных представлений о симфонии. Балакирев, однако, заинтересовался, кое что показал, объяснил.

В результате была написана моя «Первая Симфония».

**

Глазунов не любил вспоминать о былых успехах, но о первом публичном исполнении своей симфонии он рассказывал мне несколько раз, и всегда при этом на лице его появлялась снисходительная улыбка. Мне почему то казалось, что Александр Константинович разучился улыбаться, или вообще не улыбался, и я всегда с удивлением наблюдал за выражением его лица во время этого рассказа:

— Впервые ее исполнили 17 марта 1882 года в Петербурге. Дирижировал Балакирев. В программе стояло: «Первая Симфония» Глазунова. В публике шептались: «Кто такой — Глазунов? Издатель, что ли?..» — Издательскую фирму отца знали в столице, знали хорошо, а композитор Глазунов родился только в этот день — 17 марта... Не помню уже, как ее исполняли, — очень я волновался. Потом слышу — аплодисменты, какие-то крики в зале, и Балакирев выталкивает меня на эстраду... А я был еще в реальном училище и в тот день, по торжественному случаю, надел мундир... Потом Римский-Корсаков, Николай Андреевич, бывший на концерте, рассказывал, как поразилась публика, увидев автора в мундирчике.

В артистической набросились на меня разные незнакомые люди, говорили добрые слова. И так это на меня подействовало, так утомило, или просто от чрез-

мерного волнения, мне стало вдруг дурно и меня увезли домой...

— Слава пришла к вам в отроческом возрасте. Вы, значит, не были «вундеркиндом» в общепринятом смысле?

— Конечно, не был. И слава Богу! Ведь кто из вундеркиндов оправдывает надежды? Через мои руки в Петербургской консерватории прошло не мало вундеркиндов. Яша Хейфец или Цецилия Ганзен — исключения. В самом начале вундеркинд делает страшные успехи, а потом вдруг останавливается, и другие, нормально развивающиеся музыканты, обгоняют его.

— Я считаю, что это общее правило, не только для исполнителей, но и для композиторов. Моцарт был удивительным исключением. А с Мендельсоном вышло хуже... Самые блестящие свои вещи он написал в молодости. Потом выдохся. Глинка, наоборот, до тридцати лет считался просто хорошим музыкантом и сочинителем романсов. Но шедевры свои он написал уже в зрелом возрасте.

— Вернемся к Глазунову. Что было после «Первой Симфонии»?

— Ну, что? Давайте припоминать.

Клубы сигарного дыма. Глаза под насупленными бровями опять загораются.

— Была дружба с Римским-Корсаковым. Познакомились мы с ним в семьдесят девятом. Полтора года он был моим профессором. А потом вдруг отказался: «Вы, Саша, уже многому научились. Хватит. А если что понадобится — всегда помогу». Так протянул мне он руку дружбы и потом уж лет тридцать мы были с «маэстро», — мы так шутливо называли друг друга, — неразлучны...

— Я часто показывал ему мои сочинения. Наденет очки в тонкой металлической оправе и читает, — он в эти минуты становился похож на какого то старообрядческого начетчика. Давал советы, но уже не как учитель, а как старший товарищ. А потом и у меня стал советы

спрашивать. Дело в том, что у Римского-Корсакова были прорехи композиторской техники. В те времена ведь не у кого было учиться. И никогда он не гнушался чужим советом. Помню такой случай, — он в печати никогда не появлялся. В восьмидесятых годах Римский-Корсаков оркестровал какие-то произведения Мусоргского. Что то в одном месте выходило не гладко. Обратился он к Чайковскому. Петр Ильич посмотрел и сказал:

— А я бы так сделал.

Римский-Корсаков сейчас же поблагодарил и тщательно записал.

— А вот Балакирев, — тот был совсем иной. С характером, властный, сильной воли человек. Тоже строгой композиционной школы не прошел, но всего чутьем добивался. Ну, Глинка ему помогал...

Глазунов замолчал и о чем то задумался, попыхивая сигарой. Потом, с какой то неожиданной застенчивостью добавил:

— А я Римского-Корсакова очень любил...

**

Почему то распространено мнение, будто А. К. Глазунов отличался замкнутостью. Не знаю, со мной всегда он говорил очень откровенно и свободно излагал свои мысли.

Помню, однажды я спросил его, правда ли, что он вышел из концертного зала во время первого исполнения «Скифской Сюиты» Прокофьева, вышел демонстративно, через весь партер, по среднему проходу?

— Был такой случай, — подтвердил Александр Константинович. — Прокофьева я знал, когда он еще в консерватории учился и считал его нарядкость одаренным музыкантом. Но и у одаренных людей могут быть ошибки, а сюита эта, простите, показалась мне какофонией... Или, как теперь принято деликатно выражаться, «музыкой будущего».

С Прокофьева разговор перешел на общую тему о современной русской музыке; Стравинского он определенно не любил, начинавшего только Шостаковича хвалил, но осторожно.

— У меня с современными композиторами мало общего, — сказал он в заключение. — Не даром меня считают консерватором. Я ищу нового в области эволюции, а не революции. В искусстве, в том, что осталось нам в наследство, есть еще много неразработанного, и это будет всегда ново и свежо. Я стою за красоту в искусстве, за стройность. Не смешивайте это со сладковзвучностью.

И добавил:

— Трудная вещь — чистое искусство. Много к нему всего примешивают люди. Но муть осаждет на дно, а искусство останется чистым, как хрустальная вода в озере.

**

А. К. Глазунов выехал за границу в июле 1928 года на вполне законном основании, в долгосрочный отпуск, и до конца жизни формально сохранил звание директора Ленинградской Консерватории. Так что, по существу, эмигрантом он никогда не был. После лишений, перенесенных в России, после голода и холода (в квартире его отапливалась только одна крошечная комната, бывшая «лакейская»), он начал отходить, лечиться, работать. Но неопределенное положение с чрезмерно затянувшимся «отпуском» его явно волновало. России не хватало, тянуло к старым друзьям, к любимой консерватории. Удивительная вещь, — к консерватории он был привязан необычайно, а ведь, по существу, чисто административные функции и заботы, связанные с этой должностью сильно мешали его композиторской работе. Не даром Н. А. Римский-Корсаков когда-то жаловался: «Прежде придешь, бывало, к Александру Константиновичу, поговоришь о трубах, о фаготах, о му-

зыкальной форме и т. д. А теперь его интересуют больше водопроводные трубы, нежели оркестровые».

Александр Константинович любил гулять, но из-за болезни в последний период своей жизни ходил страшно медленно и часто останавливался, чтобы перевести дыхание. Однажды, во время прогулки по соседнему Булонскому Лесу я спросил, собирается ли он возвращаться? Он остановился, подумал и сказал:

— Рад бы в рай, да грехи не пускают.

— Грехи? Какие же у вас грехи?

Лукавый взгляд:

— Вот — ноги... Не ходят. Руки. ИграТЬ не могу на фортепиано. Скованность локтей и плеча. Дирижировать тоже не могу: руки не поднимаются... Директор в длительном и просроченном отпуску...

Минутная пауза. И развитие той же темы:

— Не могу вернуться. Климат тут лучше, теплее. Летом надо поехать на курорт, полечиться. И работы много. Пишу фугу для органа, которую будет играть мэтр Марсель Дюпрэ... Грустно, конечно, без старых друзей и без консерватории... Но...

Он замолчал и уже после к этому не возвращался. Но вот, что я вычитал в воспоминаниях Анны Кашиной-Евреиновой, вдовы драматурга Н. Н. Евреинова, опубликованных в «Русской Мысли». Эпизод этот относится к 30 или 31 году:

«Мы выходили с мужем из Французского Общества Драматических Писателей, получив там отличную сумму авторского гонорара. И вдруг во дворе Союза натыкаемся на Александра Константиновича. Муж ему страшно обрадовался, а Александр Константинович обрадовался мужу.

— Зайдемте на минутку в кафэ что-нибудь выпить! — предложил экспансивный Евреинов.

— Выпить всегда хорошо! — солидно и авторитетно поддержал Глазунов.

«Минутка» в монмартрском кафэ длилась два часа. Было выпито на много, много франков. Пили снача-

ла за старый Петербург, за консерваторию. У Глазунова, говорят, была поразительная музыкальная память, и вот пример: экзамен по классу фуги, муж, будучи учеником СПБ консерватории, держал у Глазунова, и вот теперь, через четверть века он напомнил мужу, как он ошибся в голосоведении.

Потом воспоминания перешли на Петроград и добрались до Ленинграда.

— Николай Николаевич, объясните мне почему мы с вами здесь? Зачем? Вы — русский деятель театра, я — русский композитор. Зачем мы здесь? В чем дело? — тоскливо приставал к мужу подвыпивший Глазунов.

— А вам разве туда хочется, Александр Константинович?

— Ой, что вы, что вы! — испуганно замахал руками Глазунов. — Когда и во сне то вижу, что там, так просыпаюсь в холодном поту!

— Значит остается сидеть здесь и переждать...

— Николай Николаевич, да согласитесь все-таки, что ведь это какой-то злостный, нелепый анекдот, что мы оба не у себя...

— Да, анекдот, действительно, скверный, как сказал бы Достоевский... — согласился хмелеющий Евреинов».

В Россию он так и не вернулся.

**

Очень жаль, я в свое время не записал полностью рассказа Глазунова о том, как он познакомился с Листом.

Знакомство произошло в Веймаре, когда молодой еще Глазунов приехал, чтобы присутствовать на первом исполнении своей Симфонии. На репетицию неожиданно явился Лист.

— Он сидел в пустом и полутемном зале, внимательно слушал и аплодировал каждой части симфонии, и странно звучали его одинокие аплодисменты в пустом

помещении... Потом подошел, схватил за руку, начал ее пожимать и что-то долго говорил, — а что именно, — я так и не понял... Я потом часто думал: ну, что же сказал мне Лист?

Александр Константинович был приглашен и на дом к Листу. Маэстро сел за рояль и исполнил до-диез-минорную сонату Бетховена.

— Удивительно тонко и точно играл он, — вспоминал Глазунов. — Была вся его игра какая то прозрачная. Есть в первой части сонаты триоли на фоне бархатных басов, — ему эта часть очень удавалась. И только уж в finale он показывал всю свою силу, необычайный свой темперамент...

Я несколько раз в разговорах возвращался к Листу, — все надеялся, что Александр Константинович расскажет о нем что-то личное, чего не заметили другие. Но мне казалось, что самый физический облик Листа в памяти его как то потускнел, — может быть, в этом сыграло роль то, что из за отсутствия общего языка они не могли сговориться. Но игру его он помнил так, словно вчера слышал эту бетховенскую сонату; помнил, например, что Лист как то особенно умеренно играл «аллегретто». Листа-композитора он ценил гораздо меньше, нежели Листа-исполнителя и, кажется, считал его лучшим пианистом своего времени.

**

Мусоргского недолюбливал. Однажды, очень тихо, почти шепотом, сказал мне:

— Без Римского-Корсакова о «Борисе Годунове» давно все бы уже позабыли. Оригинальная партитура Мусоргского в оркестровом отношении была совершенно беспомощна. А у Николая Андреевича она засверкала и зазвучала. И, между прочим, от авторских прав за «Бориса» и за «Князя Игоря» он отказался. А суммы были немалые... Весь свой гонорар он передал консер-

ватории на стипендии талантливым ученикам... Такой это был человек!

**

Пятидесятилетний юбилей композиторской деятельности застал Глазунова в Париже. Я зашел к нему, — Александр Константинович попрежнему сидел у окна, более насупленный, нежели обычно. Крышка пианино была на этот раз закрыта, — он, видимо, больше не подходил к инструменту.

Разговор долго не клеился, но когда я сказал что то о всемирной славе Глазунова, он вдруг сердито на меня уставился и в сердцах оборвал:

— Слава, слава! Это что, собственно означает, и какое это имеет значение? Был директором Петербургской Консерватории. Дирижировал во всех столицах и, кажется, дирижер я был неважный. Написал кое что в жизни. Может быть, и после моей смерти вещи мои будут исполняться. Может быть, хотя не вполне в этом уверен... Я — член корреспондент иностранных академий, доктор «гонорис кауза» оксфордского и кэмбриджского университетов, и венки мне серебряные подносили, а теперь я думаю, что все это — суeta, и что самое главное в моей жизни, это не лавровые венки, а то, что у меня распухли ноги и я не могу больше ходить даже по комнате, и что я начал забывать нужные слова.

И потом он долго жаловался на старость, болезни и одиночество, — больше нет друзей его юности, славного его учителя и друга Николая Андреевича, нет никого из тех, с кем вышел он в жизнь.

На прощанье Александр Константинович протянул мне свою неуверенную, отяжелевшую руку и, глядя в сторону, буркнул:

— Если не скучно, — приходите еще... Посидим, на деревья посмотрим...

Больше я никогда его не видел.

И. А. БУНИН

9 НОЯБРЯ 1933 года И. А. Бунин сидел на дневном сеансе в кинематографе Грасса. Шла какая-то «веселая глупость» под названием «Бэби» и Бунин смотрел с особенным удовольствием, — играла хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Вдруг в темноте загорелся луч ручного фонарика. Л. Ф. Зуров тронул писателя за плечо и сказал:

— Телефон из Стокгольма. Вера Николаевна очень волнуется и просит поскорее прийти домой.

Первое, что подумал Бунин: жаль, так и не узнаю, что стало с Кисой в конце фильма. Отправились домой. По дороге Бунин начал расспрашивать: что, собственно, сказали?

— Непонятное что-то. Премия Нобеля... Ваш муж...

— А дальше?

— А дальше не разобрали.

— Не может быть. Вероятно, еще какое-нибудь слово было. Например, не вышло, очень сожалею...

Так сразу оборвалась его прежняя жизнь: Бунин получил нобелевскую премию по литературе.

Примерно час спустя я вызвал Ивана Алексеевича по телефону из Парижа. Соединение было плохое, голос звучал глухо и отвечал он на вопросы как-то неохотно, казался растерянным. А через три дня, приехав в Париж, Иван Алексеевич рассказывал мне уже с юмором, как нахлынули в этот вечер в его «Бельведер» журналисты и фотографы, как вспыхивал и ослеплял магний и как потом газеты всего мира обошла фотография «какого-то бледного безумца». И еще признался он, что в доме в

этот вечер не было денег и нельзя было даже дать на чай мальчикам, приносившим поздравительные телеграммы.

Позже, при всякой встрече, мы вспоминали сумасшедшие дни, последовавшие за присуждением премии. Я стал на время секретарем Бунина, принимал посетителей, отвечал на письма, давал за Бунина автографы на книгах, устраивал интервью. Приезжал я из дома в отель «Мажестик», где остановился Бунин, рано утром и оставался там до поздней ночи. К концу дня, выпроводив последнего посетителя, мы усаживались в кресла в полном изнеможении и молча смотрели друг на друга. В один из таких вечеров Иван Алексеевич вдруг сказал:

- Милый, простите, Бога ради...
- За что, Иван Алексеевич?
- За то, что я существую.

С утра надо было разбирать почту. Письма приходили буквально со всех концов мира. Было, конечно, не мало странных посланий и просьб о помощи. Сумасшедшая из Дании написала открытку:

— Ради Спасителя, соединяйтесь с Римом! Спасем мир!

Другое письмо вызвало у нас много веселья. Какой-то матрос просил в спешном порядке прислать ему 50 франков и, чтобы расположить к себе лауреата, писал:

— Я уверен, что Бог поможет Вам. Если пришлете мне эти 50 франков, то и на будущий год наверно получите премию Нобеля!

Идея эта так понравилась Ивану Алексеевичу, что 50 франков матросу послали. На деньги были и другие претенденты, действовавшие не таким прямым путем. Через несколько дней в «Нувель Литерэр» появилась довольно ехидная заметка: Бунин, дескать, проявил исключительное благородство и решил разделить свою премию с другим большим русским писателем, Д. С. Мережковским.

Вырезку эту я показал Бунину, вызвав у него нечто вроде легкого апоплексического удара:

- С какой стати? Ни за что!

Всё же я спросил, откуда пошел слух о разделе? И Бунин рассказал, что к нему явился как-то Мережковский и сделал странное предложение: составить у нотариуса договор на случай получения одним из них нобелевской премии. Тот, кому премию присудят, заплатит другому 200.000 франков.

— Я, конечно, наотрез отказался. Глупо делить шкуру неубитого медведя. Да и не нужно мне денег Мережковского!

Всё же было решено, что лауреат отправится с визитом к Мережковским. На следующее утро Иван Алексеевич рассказал мне подробности:

— Пошел,... (тут я выпускаю три крепких слова). Подхожу к дому, — нет мужества войти. Ведь я знаю, как Мережковский и Зина всю жизнь меня ненавидели. А ведь они люди страшные: еще могут на меня какую-нибудь хворь наслать со всей их чертовщиной... Полчаса вокруг дома ходил на ветру. Наконец, позвонил. Встретила меня Гиппиус. Лорнетка, прищуренные глаза, голос капризной кокотки:

— Что это вы, Иван Алексеевич, снизошли к нам с ваших олимпийских высот?

А я сдерживаюсь и так спокойно говорю:

— Никаких высот, Зинаида Николаевна, нет. Просто пришел вас и Дмитрия Сергеевича проведать.

Но она продолжала в том же тоне, пока я не попросил ее перестать. Тут вышел Мережковский, сунул на ходу руку и шмыгнул в угол, мрачнее тучи... Еле высидел положенные 30 минут и ушел. Выходит так, что я виноват: почему дали нобелевскую премию мне, а не Мережковскому?

И с внезапным ожесточением:

— Больше никогда в этом доме ноги моей не будет!

Несколько дней спустя зашел Б. К. Зайцев. Бунин и ему рассказал о своем визите к Мережковским. Борис Константинович, — узкое византийское лицо, тонкие, бескровные губы, — не улыбаясь:

— Мережковский у меня был. Вошел в комнату, оглянулся и, глухим голосом из подземелья, сказал: «Вам хорошо. Вы уже на дне. А мы только опускаемся!»

**

Н. А. Тэффи пустила по городу остроту:

— Нам не хватает теперь еще одной эмигрантской организации: «Объединения людей, обиженных И. А. Бунином».

Обижены были, главным образом, «братья-писатели» на распределение сумм из пожертвованных на это Бунином 100.000 франков. Распределением денег ведал специальный комитет, в котором Бунин не принимал участия.

**

Не все были на Бунина обижены и не все ему завидовали. Его чествовали, — в Театре Елисейских Полей, где В. А. Маклаков говорил, что Бунин «сослужил какую-то службу России». Чествовали на обедах, чествовали в «Мажестике», куда всё время приезжали делегации с поздравительными адресами. Были и непрошеные посетители, о которых рассказал И. А. Бунин в своем предисловии к моей книге рассказов «Звездочеты с Босфора». Секретарь «сколько давал за меня, замученного, бесед со всякими иностранными газетчиками, так решительно расправлялся с грудами писем, что я получал от несметных поздравителей и просителей, так ловко и спокойно выставлял за порог всяких «стрелков», осаждавших меня в «Мажестике»! В те часы, когда он отсутствовал, я часто сидел, запершись на замок, и не даром: бывали «стрелки», обладавшие удивительным нахрапом, анекдотическим бесстыдством. Однажды сидел я вот так, под замком, не отвечая на стуки в дверь. Раздается, наконец, стук настолько крепкий, требовательный, что я подхожу к двери:

— Кто там?

— Отворите, господин Бунин, — отвечает грубый, простонародный бас. — Нам нужен личный разговор по очень важному делу.

— Кому нам?

— Мне и моим товарищам.

— Я нездоров, никого не принимаю, должен лежать в постели.

— Не стесняйтесь, пожалуйста, мы же не дамы.

— Да в чем дело?

— Дело в русской национальной ценности, которую вы обязаны по своему положению лавреата приобрести, чтобы она не попала в руки кремлевских палачей.

— Что за ценность?

— Топор императора Петра Великого. Его личная собственность с государственным сертификатом и приложением печати.

— Вы, кажется, не в своем уме. Какой такой топор? Очевидно, тот самый, которым Петр прорубил окно в Европу?

— С этим не шутят, господин Бунин! — уже с угрозой, с хамской мрачностью возвышает голос мой собеседник за дверью. — Не имеете права шутить. Это священная национальная ценность. И только в виду этого уступаем всего за пятьсот франков с ручательством...»

В один из таких дней я вытащил из груды писем поздравление «местоблюстителя» престола великого князя Кирилла Владимировича. Видимо, в глубине души Бунин был польщен.

— Отвечать будете? — спросил исполнительный секретарь.

— Государь должен быть милостив, — ответил Бунин. — Он меня простит, если сразу не отвечу.

Всё же, дня через три Иван Алексеевич сам сходил в магазин и купил бумагу большого, министерского формата. Особенные конверты. Сел за стол и начал старательно писать:

— Ваше Императорское Высочество...

Закончив письмо прочел мне.

— Ну, как?

— Знаете, Иван Алексеевич, слишком уж верноподданнически получается. Хорошо бы смягчить.

Сухо:

— Да. Да. Вы правы, конечно. Он такого письма и не заслужил. Он ведь! Николай Николаевич, тот был человек. Пошлю телеграмму, менее обязывает. Нет, право, это не великий князь, а.....

Через день:

— Послали телеграмму, Иван Алексеевич?

— Письмо, всё-таки, отправил... Ей Богу, смягчил выражения!

**

Отъезд в Стокгольм был назначен на 3 декабря, но предстояло еще решить один важный вопрос: кто же будет сопровождать лауреата? Долго обсуждали, колебались. В конце концов, поехали: Бунин с Верой Николаевной, Г. Н. Кузнецова и я, в качестве личного секретаря и корреспондента нескольких газет.

...И вот мы уже в «голубом поезде». За зеркальным окном ночь, мрак, огни далеких, убегающих куда-то городов. Радует глаз белоснежное постельное белье, красное полированное и слегка потрескивающее на ходу дерево купэ и та особенная ловкость, с которой прилажена каждая вещь в международном вагоне. Ничего на свете Бунин не любил так, как дорогу, эти спальные вагоны, мерный, укачивающий бег поезда вдаль. В эту ночь он почти не спал: всё время выходил на площадку, курил, всматривался в темноту ночи, в заснеженные поля, в темные сосны, мелькавшие вдоль полотна.... Потом возвращался в купэ и с тревогой спрашивал:

— Что, вас знобит? Милый, только не болейте...

Позже, уже вернувшись в Париж, он изумительно рассказывал моей жене эту ночь, как боялся, что я захвораю в дороге и изображал меня, лежащего на постели и «шевелящего пальцами ног»... Поздно ночью пришли немецкие пограничники, конфисковали французские га-

зеты, но увидев портрет Бунина на первой странице «Нувель Литтерэр», почтительно козырнули и ушли, не осматривая багажа.

Бунин сказал им вслед на странной помеси французского и немецкого:

— Се гут.

Об этой поездке через гитлеровскую Германию 33-го года теперь тяжело вспоминать. В Гамбурге, где мы провели день, «герр обер» в ресторане отвел гостям почетный столик, на котором стоял флагшток со свастикой. Ударники в коричневой форме, в галифе и в сапогах, сновали по скучным гамбургским улицам. На углу, неподалеку от вокзала, мы увидели человека в приличном черном пальто с барашковым воротником. На носу у него дрожало золотое пенсне. Человек этот предлагал прохожим жалкие букеты хризантем. Он, видимо, еще не привык к своему новому ремеслу.

— Вы — еврей? — спросил я его.

Продавец хризантем вздрогнул и молча кивнул головой.

Потом мы ехали через Пруссию, покрытую тонким снежным покровом. Вдоль железнодорожного полотна стояли дети и протягивали руки в гитлеровском салюте.

Ночью, уже на шведском пароме, другой мир и другие люди. Мы ужинали, пили «аквавит» и ели бесчисленные шведские закуски и когда подали счет, Иван Алексеевич тихонько вздохнул и покорно сказал:

— Жизнь хороша, но очень дорога...

Журналисты встретили Бунина на пограничной станции. Посыпались вопросы, Иван Алексеевич скоро устал, забился в купэ, и представители шведских газет занялись своим разговорчивым русским коллегой. Интересовало их, кто представит Бунина королю? По традиции, это делает посол той страны, откуда родом лауреат. Но посол был советский — Коллонтай — я и сказал по адресу этой дипломатки что-то очень нелюбезное. В утренних стокгольмских газетах это превратилось в своего рода политическую сенсацию, и Коллонтай заяви-

ла, что она на торжество раздачи премий вообще не явится. Должно быть, этот невольно вызванный инцидент еще более усилил симпатии шведов к Бунину.

В Стокгольм приехали на рассвете. Толпа на вокзальном перроне, «юпитеры» кино-операторов, поднос с хлебом-солью, и букеты цветов на руках В. Н. Буниной и Г. Н. Кузнецовой... Через час мы были уже в особняке Г. Л. Нобеля. В окне — канал с темной, свинцовой водой, тяжелая громада королевского дворца и хлопья мокрого, быстро тающего снега.

**

Бунин стоит у окна и смотрит на набережную. Часы показывают 9. Северный день только начинается и газовые фонари у дворца еще не потушены, но небо на Востоке светлеет и уже видно, как плывут по каналу крупные льдины.

— Хорошо бы поехать куда-нибудь за город, побродить по снегу, потом зайти в шведский кабачок и выпить стакан горячего пуншу... Что у нас сегодня? Какая программа?

— В 11 часов утра визит в Академию. В час дня завтрак у чехословацкого посланника. В 4.30 чай во французском посольстве. В 10 ужин св. Люции, который устраивает в вашу честь редакция «Стокгольм Тиндинген». Кажется, это всё.

Иван Алексеевич вздыхает и покорно начинает одеваться. Ни сегодня, ни завтра, ни разу до своего отъезда из Стокгольма он не сможет отправиться за город и побродить по свежему, скрипучему снегу, который напоминает ему Россию.

Стук в дверь:

— Герр доктор Седых, вот утренние газеты и почта!

«Доктор» принимается прежде всего за письма.

Шведский издатель сообщает, что выпущено новое собрание Бунина в шести томах. Какой-то лесничий, живущий чуть ли не за полярным кругом, на невероятном

французском языке просит у Бунина автограф. Приглашение на обед. Три коробки с пилюлями от простуды и просьбой дать похвальный отзыв... Принимаемся за газеты. Большие, кричащие заголовки: «Бунину заказаны 200 книг».

Бунин хватается за голову.

— Милый, кто же им это сказал? А фотография, посмотрите на фотографию: опять это громадное, испуганное, бледное лицо.

— Ничего не испуганное. Лицо римлянина периода упадка Империи.

Фотографии Бунина смотрели не только со страниц газет, но и из витрин магазинов, с экранов кинематографов. Стоило Ивану Алексеевичу выйти на улицу, как прохожие немедленно начинали на него оглядываться. Немного польщенный, Бунин надвигал на глаза барашковую шапку и ворчал:

— Что такое? Совершенный успех тенора.

Должен сказать, что успех Буниных в Стокгольме был настоящий. Иван Алексеевич, когда хотел, умел привлекать к себе сердца людей, знал, как очаровывать и держал себя с большим достоинством. А Вера Николаевна сочетала в себе подлинную красоту с большой и естественной приветливостью. Десятки людей говорили мне в Стокгольме, что ни один нобелевский лауреат не пользовался таким личным и заслуженным успехом, как Бунин.

Но это имело и оборотную сторону медали. Программа чествования писателя разрослась необычайно. Приемы следовали один за другим и были дни, когда с одного обеда приходилось ехать на другой. Особенно запомнился вечер св. Люции. Когда Бунин вошел в зал под звуки туша, тысячи людей поднялись с мест и разразились бурей аплодисментов. Бунин двинулся вперед, по проходу, — овация ширилась, росла. Он остановился и начал класться, ставшими знаменитыми в Стокгольме «бунинскими» поклонами. Потом выпрямился, поднял руки, приветствуя гремевший, восторженный зал. А навстречу к

нему уже шла святая Люция, разгоняющая мрак северной ночи, белокурая красавица с короной из зажженных семи свечей на голове. Дети в белых хитонах несли впереди трогательные бумажные звезды, и оркестр играл Санта Лючию... Но вот, как-то совсем незаметно, наступил и день торжества вручения нобелевской премии, проходящего каждый год 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

В Концертный Зал надо было приехать не позже 4 часов 50 минут дня, — шведы никогда не опаздывают, но и слишком рано приезжать тоже не полагается. Помню, как мы поднимались по монументальной лестнице при красноватом, неровном свете дымных факелов, зажженных на перроне. Зал в это время был уже переполнен, — мужчины во фраках, при орденах, дамы в вечерних туалетах... За несколько минут до начала церемонии, на эстраде, убранной цветами и задрапированной флагами, заняли места члены Шведской Академии. По другой стороне эстрады стояли четыре кресла, заготовленные для лауреатов. Ровно в пять с хоров грянули фанфары и церемониймейстер, ударив жезлом о пол, провозгласил:

— Его Величество, король!

В зал вошел ныне покойный Густав V — необыкновенно высокий, худощавый, элегантный. За ним шли попарно члены королевской семьи, двор. Снова зазвучали фанфары, — на этот раз для лауреатов. Бунин вошел последний, какой-то особенно бледный, медлительный и торжественный. У меня сохранился текст его речи, — он работал над ней много часов, переделывал ее, взвешивал каждое слово. Полагалось сказать комплимент королю, поблагодарить Академию, и Бунин хотел сказать нечто большее: подчеркнуть, что нобелевская премия была присуждена писателю-изгнаннику, как знак совершенной независимости, как символ уважения свободы совести и свободы мысли. Это был, в известной степени, и акт политический. Со временем Полтавы и Петра Великого в Швеции недолюбливали всё русское; никогда до Бунина нобелевская премия не была присуждена русскому писа-

телю, — не присудили ее Толстому, который премии не хотел, ни Горькому, кандидатуру которого тщетно выставляли. Между советским писателем Горьким и свободным эмигрантским писателем Бунином, Шведская Академия выбрала последнего, — и не потому только, что Бунин-художник стоит неизмеримо выше Горького. Это была своего рода декларация независимости, провозглашение торжества духовной свободы. В 33 году Шведская Академия дала нобелевскую премию изгнаннику Бунину точно так же, как четверть века спустя она дала ее другому русскому писателю, сохранившему свободу, внутреннему эмигранту Борису Пастернаку.

Помню поклон Бунина, преисполненный великоделия, рукопожатие короля и красную сафьяновую папку, которую Густав V вручил Ивану Алексеевичу вместе с золотой нобелевской медалью... Дальше произошел комический эпизод. После церемонии Бунин передал мне медаль, которую я тотчас же уронил, и которая покатилась через всю сцену, и сафьяновую папку. Была давка, какие-то люди пожимали руки, здоровались, я положил папку на стул и потом забыл о ней, пока Иван Алексеевич не спросил:

— А что вы сделали с чеком, дорогой мой?
— С каким чеком? — невинно спросил я.
— Да с этой самой премией? Чек, что лежал в папке.

Тут только понял я, в чем дело... Но папка попрежнему лежала на стуле, где я ее легкомысленно оставил, — никто к ней не прикоснулся, и чек был на месте... Сколько мы потом смеялись, вспоминая этот эпизод, и с каким неподражаемым видом Иван Алексеевич вздыхал:

— И послал же мне Господь секретаря!

Был банкет в Академии, парадный обед в честь нобелевских лауреатов в королевском дворце, еще какие-то нескончаемые приемы. Последний день в Стокгольме Бунин провел в обществе нескольких русских и французских журналистов, — помню И. М. Троцкого и Серж де Шессена. Осматривали мы все вместе город, любовались

быстро замерзающими каналами, новой ратушей, чем-то напоминающей дворец венецианских дожей. В полдень, усталые и озябшие, спустились в погребок «Золотой мир», где когда-то распевал свои баллады шведский национальный поэт Бельман, и где до сих пор собираются любители вина и хорошей кухни.

В большом камине пылали березовые дрова, но с морозу захотелось «внутреннего огня». Бунин заказал для всех янтарной шведской водки. Прислуживающая «фре-кен» смутилась, взглянула на часы и ушла о чем-то шептаться с хозяином. Прошло минут пять. Водки не подавали.

— В чем дело?

— Господин Бунин, мы очень польщены вашим визитом. Это — большая честь для «Золотого мира». Но подать вам спиртное мы не можем. Сегодня воскресенье. Церковная служба кончается только в час дня. После службы — сколько угодно!

Я не помню, что именно было подано нам в граненых бокалах, но задолго до окончания службы в стокгольмских церквях за столом нашим раздавались взрывы смеха и Иван Алексеевич говорил:

— Помните, господа, старый русский присказ:

Вода для рыбы, раков,
Вино для женщин и мужчин,
А мы, герои, водку пьем!

И потом, когда мы выходили, Бунин вдруг процитировал «по шаляпински» слова из «Фауста»:

— ...И всё-таки мне кажется, что я пил вино!

**
*

Из Швеции в Германию плыли на немецком пароходе. Зашли в ресторан — в последний раз отведать прославленные шведские закуски.

«Герр обер» поднес нам унылое немецкое меню: суп

с картофелем, сосиски с картофелем, шнитцель с картофелем.

— А угрия копченого у вас нет?

— Нет.

— А сельди маринованной, королевской?

— Нет.

Бунин внезапно оживился.

— Это, знаете, как в разоряющемся, захудалом дворянском доме. Подходит дворецкий, этакий старичек с растопыренными пальцами в заштопанных нитяных перчатках. Кричит тугому на ухо гостю:

— Вам супу, или ухи-с?

— Ухи, пожалуйста.

— Ухи нет-с!

«Ухи» на немецком пароходе мы не получили. Но Бунин так мастерски изображал старичка дворецкого, что мы вполне утешились. Вообще, когда Иван Алексеевич бывал в ударе, рассказывал и изображал он великолепно, как настоящий актер, — не даром Станиславский уговаривал его в свое время поступить в Художественный Театр.

Берлин встретил нас сыростью, туманом, слякотью. По вокзальному перрону метались какие-то люди с цветами и фотографическими аппаратами. Пронзительный женский голос кричал:

— Вот он! Вот Бунин!

Какой-то господин в котелке завладел рукой Ивана Алексеевича и начал заранее заготовленную речь:

— От имени 22-х объединенных русских организаций позвольте приветствовать вас, дорогой Иван Алексеевич...

В глазах Бунина на мгновенье мелькнуло разочарование: нет, ему, видно, не суждено сегодня пообедать в кругу семьи и пораньше лечь спать. И уже бодрым, привычным «лауреатовским» тоном, Иван Алексеевич ответил:

— Покорнейше вас благодарю, господа... Очень тронут, чрезвычайно признателен вам за внимание...

**

В Берлине мы расстались. Бунины уехали в Дрезден к Ф. Степуну, а я вернулся в Париж, — формально мои секретарские обязанности в этот момент закончились, но до конца жизни Иван Алексеевич любил шутливо называть меня своим «секретарем». И по дороге из Берлина в Париж я всё старался припомнить: когда же и при каких обстоятельствах мы впервые встретились? Должно быть, это случилось в 1923 году, когда я был парижским представителем художественного журнала «Жар Птица» и начал регулярно сотрудничать в «Последних Новостях» и в рижской газете «Сегодня». У меня сохранилось около 100 писем и рукописей Бунина, и первые его письма, деловые и сравнительно короткие, датированы 24-29 гг. Вот некоторые выписки из этих ранних писем, в которых отдельные слова и фразы подчеркивались всегда рукой Бунина.*

«...Нет, и первое Ваше письмо я получил и тотчас же ответил: к сожалению, сейчас ничего нет. Кстати, почему Вы пишете: «были бы очень рады поместить Ваш *неизданный* рассказ...»? Я всегда даю неизданное, т. е. еще ненапечатанное, а когда что-нибудь *перепечатываю*, всегда оговариваю это в сноске (хотя, собственно говоря, в этом нет особой надобности, ибо есть вещи настолько забытые и столь давно не видавшие нового тиснения, что их ни одна душа — и особенно молодые — не знает).»

* В № 66 «Нового Журнала» (январь 62 г.) Л. Ф. Зуров напечатал «литературное завещание» И. А. Бунина, в котором писатель просит не опубликовывать его письма.

Настоящая глава, содержащая многочисленные выдержки из писем И. А. Бунина, была напечатана в № 65 того же «Нового Журнала», в сентябре 61 г., т. е. за 4 месяца до опубликования завещания.

Мне остается только пожалеть, что наследники И. А. Бунина не сделали этот важный документ достоянием гласности в течение восьми лет, прошедших со дня смерти писателя и опубликовали его уже после того, как письма появились в «Новом Журнале». A. C.

P. S. Скоро выйдет новая книга «Современных Записок», где будет мой новый рассказ «Солнечный удар», где я опять — как в романе «Митина любовь», в «Деле корнета Елагина», в «Иде» — говорю о любви. (10-VI-26).

В тот же день второе письмо из Грасса, где тогда жил Бунин.

«Нынче, бросив в ящик письмо Вам, — мой ответ на Ваше второе насчет «Жар Птицы», — подумал, что мог бы дать для нее несколько страниц: из книги «Воды многия». Это нечто вроде Мопассана. Возьмите второй номер журнала «Благонамеренный», — там часть этого дневника, этой путевой поэмы напечатана. Я мог бы дать кусок немножко больше того, что в «Благонамеренном». Но устраивает ли это Вас? Я то сам считаю «Воды многия» одним из самых лучших моих писаний».

Время от времени я устраивал политические анкеты для «Иллюстрированной России». И. А. Бунин всегда коротко и сжато отвечал на поставленные ему вопросы. В этом же 1929 году он писал:

«Вопрос: что будет с Россией через десять лет?

Ответ: не знаю. Думаю, однако, что десять лет большевики всё-таки не продержатся, несмотря на всю пассивность русского народа и все старания почти всех так называемых цивилизованных государств неизменно поддерживать их.

Вопрос: какой Вы хотели бы видеть Россию?

Ответ: какой угодно, лишь бы не большевистской.

.....

Читаю Ваши фельетоны «Там, где была Россия». Молодец Вы, дорогой мой, и талантливый человек. Дай Вам Бог.

А почему Ваше письмо пахло креозотом? Кто у Вас болеет?

Ваш Ив. Бунин.

И еще: несколько раз «Сегодня» печатало мой портрет — тот, где я похож на «Анатэму». Очень прошу его больше не печатать. Если нужно, то вот — прилагаю».

Бунин был до болезненного требователен к своей наружности и портреты, печатавшиеся в газетах, постоянно его раздражали. В конце концов, он выбрал один, старый, 1923 года, и этот, по его настоянию, мы помещали постоянно.

**

Годы, предшествовавшие получению нобелевской премии, были, вероятно, самыми продуктивными в жизни Бунина. Человек беспокойный по натуре, в молодости вечный странник, всегда куда-то ехавший, иногда без какой-либо видимой причины, он в эмиграции поневоле стал домоседом, делил свое время между Парижем и Грассом. В Париже работать было трудно — мешал звонок у дверей, посетители, заходившие «на часок», вечные приглашения. Зато в Грассе, в «Бельведере», В. Н. Бунина создала для мужа условия подходящие для работы. С ними постоянно жили Г. Н. Кузнецова, которую очень любил Иван Алексеевич, и писатель Л. Ф. Зуров. Иногда приезжали гости из Парижа или из соседней Ниццы, — самым близким и желанным из них был М. А. Алданов.

Бунин любил Грасс. Только здесь дышал он полной грудью. Любовался морем, вечно меняющимися его красками, голубыми склонами Приморских Альп и лесами Эстереля. Работал он на юге «запойно». Здесь написал он «Митину любовь» — одно из самых лирических произведений в русской литературе. Здесь была написана «Жизнь Арсеньева», и позже Бунин очень огорчался, когда эту вещь называли «автобиографической». В ней действительно есть многое из жизни молодого Бунина в Ельце и в Полтаве, но Лика была выдумана от начала до конца и та женщина, которую Бунин написал в образе Лики, фактически была очень мало похожа на мя-

тущуюся, сумбурную Варвару Пашенко, в которую Бунин был влюблен в юности.*

Чем больше я присматривался к Бунину, тем яснее видел, что его плохо знают. Много раз слышал я такой отзыв:

— Какой холодный, ледяной писатель!

Так говорили те, кто совершенно не чувствовали Бунина и не понимали его произведений, в которых всегда есть глубокая волнующая страсть. За внешней, величавой спокойностью формы, за мудрой скромностью слов, легко открыть всё нарастающее чувство, юную радость жизни или тревогу обреченности. Таков был Бунин в жизни, — вечно мятущийся, беспокойный. Он мог усилием воли внезапно совладеть с собой, побороть душевную тревогу и казаться холодным, далеким, учтиво безразличным. И только немногие знали, какой это давалось ему ценой и что именно происходило в душе писателя в минуты этого деланного, внешнего спокойствия.

В нем была какая-то неподдельная стыдливость, — Бунин не любил показывать на людях свою обнаженную душу. Пошлость презирал он во всех ее проявлениях и задыхался от гнева, когда слышал по своему адресу плоские комплименты. Но не страдал он и самоуничижением и как-то, уже после получения нобелевской премии, с немного иронической важностью сказал мне:

— Что же, и я не последний писатель земли русской.

Когда позже мы вернулись к этой теме, Бунин уже совсем серьезно и твердо объяснил:

— Я человек самолюбивый. Не люблю срамиться. Держу свечку перед грудью.

* Из письма ко мне В. Н. Буниной от 15 апреля 57 г.:

«...Есть заметка Ивана Алексеевича: «Лика вся выдумана». Воскресла не Лика, а любовь молодого Бунина, сила, страсть чувства его. Я нахожу, что в Лике — все женщины, которых он любил».

**

Начинал он работать рано, часов в девять, и писал без остановки до завтрака, т. е. до часу дня, и в это время никто его не беспокоил. В жаркие, знойные дни, которые часто бывают летом на Ривьере, раздевшись до-гола, Бунин писал о ранней московской весне, о капельках, падающих с крыш, о ледяных сосульках, со звоном разбивающихся на тротуарах... Меня всегда поражала эта его способность перевоплощаться, забыть обо всем окружающем, писать о далекой России так, будто он видит ее перед своими глазами. Но Бунин — это и есть Россия, которую отделить от него нельзя. Он был связан с ней крепкими, почти физическими узами, словно ни на один день не переставал дышать ее прозрачным, морозным воздухом.

Как-то он мне сказал:

— Россию, наше русское естество, мы унесли с собой, и где бы мы ни были, мы не можем не чувствовать ее.

Таков был секрет Бунина. Ему не надо было видеть Россию, чтобы писать о ней, — так и Гоголь мог работать над «Мертвыми Душами» в Риме, на вилле княгини Волконской. Россия жила в нем, он был — Россия.

В послеполуденные часы обитатели виллы «Бельведер» отдыхали, а когда спадала жара отправлялись на прогулку, или сидели за чаем. Иногда Иван Алексеевич читал что-нибудь вслух. По вечерам и, в особенности, ночью он никогда не писал. Читал много, делая пометки на полях книги и свои замечания, иногда довольно резкие. В выражениях он, вообще, никогда не стеснялся. Будущему издателю писем Бунина придется не мало слов в них заменить многоточиями. Вот один случай, связанный с любовью Бунина к крепкому слову.

Ехали мы как-то ночью в такси. В те годы множество шоферов такси в Париже были русские. Узнать их можно было сразу по акценту, по тому, как сосредоточенно сидели они за рулем, держась за него двумя

руками, даже по крепким, каким-то особенно русским затылкам. Но вот, на этот раз мы не узнали, — дали адрес и шофер повез по темным улочкам, дальней дорогой, и Бунин вдруг начал ругаться сочными, отборными словами. Шофер обернулся к нам и добродушно, словно вся эта ругань к нему не относилась, сказал:

— А вы, господин, должно быть из моряков? Ловко выражаетесь.

— Я не моряк, — как-то строго и скороговоркой ответил Бунин. — Я — почетный академик по разряду изящной словесности.

Тут шофер просто покатился со смеху и долго потом еще не мог успокоиться:

— Академик!.. Да... Действительно, изящная словесность!

Ему и в голову не пришло, что везет он действительно почетного члена Российской Академии по разряду изящной словесности, а не моряка с военного корабля.

**

Был еще такой случай: Бунин прочел «Петра I» Алексея Толстого и пришел в восторг. Не долго думая, сел за стол и послал на имя Алексея Толстого, в редакцию «Известий», такую открытку:

«Алешка,

Хоть ты и сволочь, мать твою, но талантливый писатель. Продолжай в том же духе.

Ив. Бунин».

**

В 36 году Бунин вдруг решил поехать в Германию, хотя ни в какой степени ни Гитлер, ни гитлеризм сочувствия в нем не вызывали. Бывали у него такие странности. Перед отъездом иронически объяснял:

— Хочу побывать в «стране порядка» и увидеть настоящего генерала в форме.

В действительности, по словам Г. Н. Кузнецовой, ему нужно было получить деньги у берлинского издателя.

В «стране порядка», на границе, его раздели до-нага и подвергли трехчасовому допросу, который закончился унизительным промыванием, — немцы, видимо, искали бриллианты. На этот раз не было при нем номера «Нувель Литтерэр» с фотографией нобелевского лауреата, да и вряд ли это помогло бы в те времена. Бунин вернулся во Францию с температурой, взбешенный и на-всегда излеченный от Германии. О совершенном над ним надругательстве он сам рассказал в письме, опубликованном в «Последних Новостях».

Эта его злополучная поездка почти совпала по времени с поездкой Мережковских в Италию, где приняли их по иному, с почетом. Была даже устроена аудиенция у Муссолини. Мережковский шел по залу, — маленький, сгорбленный, вросший в землю. Темное лицо и красные губы вампира. А рядом с ним, завитая и нарумяненная, по выражению Ремизова, «вся в костях и пружинах» Гиппиус. Муссолини театрально стоял за письменным столом и принял низкий поклон русского писателя. Сказал несколько комплиментов, — он читал Мережковского, или просто перед аудиенцией осведомился, что именно Мережковский в жизни написал.

— А над чем вы теперь работаете, мэтр? — спросил Муссолини.

— Хочу писать книгу, Дуче, о двух великих итальянцах: о вас и о Данте.

Тут, видимо, даже «дуче» слегка затошило и он не выдержал:

— Piano, piano...

Позже эту сцену изображал в лицах Иван Алексеевич и затем передавал разочарование Мережковского:

— Ну, какой он Наполеон? Пишешь, — не отвечает, просишь — не дает!

И, в глубоком раздумье:

— Обманул с. с., обманул!

Потом Мережковский заинтересовался Португалией и сказал:

— Там ведь тоже есть диктатор, Салазар? Зина, надо будет ему написать.

Салазару написали. Мережковский просил визу в Португалию и сообщил диктатору, что он хочет составить жизнеописание португальской национальной святой Фатьмы, историю которой он давно изучает.

Ответа не последовало. И только много позже выяснилось, почему Салазар не считал нужным ответить на письмо биографа св. Фатьмы: такой святой в Португалии вообще не существует. Есть город Фатьма, где народу явилась Богоматерь, город этот стал местом паломничества. Вероятно, Салазар немало удивился, узнав от Мережковского о существовании новой португальской святой.

**
*

Была война, бегство из Парижа, конец целой эпохи. Мы жили в Ницце и считали дни, оставшиеся до отъезда в Америку. Успеем, или дверь мышеловки захлопнется навсегда?

Из Грасса приехал прощаться Иван Алексеевич, передавать поручения друзьям за океан. Мы условились о свидании заранее и жена постаралась, устроила ему по тем временам «королевский» завтрак: была селедка, тощие бараньи котлетки (весь недельный мясной пакет!), полученный из Португалии настоящий, а не «национальный» сыр, и даже кофе с сахаром... При виде всех этих богатств, расставленных на столе, Иван Алексеевич даже обомлел:

— Батюшки, совсем как мы с вами в Стокгольме ели!

Сильно отошел в эту зиму 42 года Бунин. Стал он худой и лицом еще более походил на римского патриция.

И когда выпили по рюмке аптекарского спирта, разбавленного водой, Иван Алексеевич грустно сказал:

— Плохо мы живем в Грассе, очень плохо. Ну, картошку мерзлую едим. Или водичку, в которой плавает, что-то мерзкое, морковка какая-нибудь. Это называется супом... Живем мы коммуной. Шесть человек. И ни у кого гроша нет за душой, — деньги нобелевской премии давно уже прожиты. Один вот приехал к нам погостить денька на два... Было это три года тому назад. С тех пор вот и живет, гостит. Да и уходить ему, по правде говоря некуда: еврей. Не могу же я его выставить? Очевидно, нужно терпеть, хотя всё это мне, весь нынешний уклад жизни, чрезвычайно противно. Хорошо еще, что живу изолировано, на горе. Да вы знаете, — минут тридцать из города надо на стену лезть. Зато в мире нет другого такого вида: в синей дымке тонут лесистые холмы и горы Эстереля, расстилается под ногами море, вечно синеет небо... Но холодно, невыносимо холодно. Если бы хотел писать, то и тогда не мог бы: от холода руки не движутся.

— В прошлом году, — продолжал свой монолог Бунин, — написал я «Темные аллеи» — книгу о любви. Лежит она на столе. Куда ее девать? Возьмите с собой в Америку, — может быть, там можно напечатать. Есть в этой книге несколько очень откровенных страниц. Что же, — Бог с ними, если нужно — вычеркните... А в общем, дорогой, вот что я вам скажу на прощание: мир погибает. Писать не для чего и не для кого. В прошлом году я еще мог писать, а теперь не имею больше сил. Холод, тоска смертная, суп из картошки и картошка из супа.

Потом разговор перешел на политические темы. Бунин рассказал, как 22 июня 1941 года, в день нападения Германии на Россию, арестовали в Грассе всех русских. Его не тронули. Спасли годы. Но полицейский комиссар всё же явился на виллу с обыском. Комиссар знал Бунина давно, знал, что в смысле большевизма он вне подозрений и стыдно ему было тревожить старого пи-

сателя. Краснел, просил извинения и ушел, так ничего и не взяв. А я вспомнил своего комиссара в Ницце. В старом городе жило всего несколько русских. Нас всех арестовали и посадили в каталажку, в каком-то средневековом подземельи. Через час пришел комиссар и торжественным тоном спросил:

— Есть ли среди вас, господа, лица, награжденные Большими или Командорским Крестом Почетного Легиона? Их по закону я обязан освободить.

Я взглянул на моих товарищей по заключению, — каких-то спившихся субъектов, ютившихся около цветочного рынка и давно спавших под открытым небом. Один из них спросил, чего хочет комиссар? Я перевел. Бояк хладнокровно посоветовал:

— Чи не послать ли его к чортовой матери?

— Что он сказал? — встревожился комиссар.

— Он говорит, что не имел счастья быть награжденным Большими Крестом Почетного Легиона.

Как смеялся Иван Алексеевич, слушая эту историю!

**

Иногда к Бунину приезжал в гости Андрэ Жид. Они говорили о России. Андрэ Жид к концу жизни сильно переменил свои взгляды и много расспрашивал о Толстом. В эти годы еще не вышли «Воспоминания» Бунина и я спросил, как близко он знал Толстого?

— Вот мы с вами самогон пили и даже убоину ели, — сказал Бунин, — а ведь я сам был толстовцем...

Я знал об этом эпизоде в его жизни, но толстовство так не вязалось с представлением о Бунине, которому никакие земные радости не были чужды, что на моем лице появилась недоверчивая улыбка.

— Вы не смеяйтесь. Чего смеяться? В его учении было много прекрасного и чистого, много пленительного для молодого сердца. И была еще у меня страшная влюбленность в Толстого-художника. Чтобы приблизиться к нему лично, решил я стать настоящим толстовцем и, ста-

ло быть, начал учиться бондарному делу. Для чего мне нужны были эти обручи? Для того, опять-таки, что они как-то соединяли меня с Толстым, давали тайную надежду когда-нибудь его увидеть, сблизиться.

Жаль, нет у меня фотографии того времени. Были у меня романтические глаза, такие синие, мечтательные. И нежный пушок на щеках, так что меня иногда принимали за молодого еврея. Галстух носил я атласный, двойной, пушкинского времени. А тут вдруг — обручи набивать! Учил меня этому искусству бондарь Исаак Борисович Фейерман. Впоследствии стал он писать в газетах под псевдонимом Теноромо. Был он человеком громадного роста, глаза на выкате, говорил докторальным тоном, — так, впрочем, говорили тогда многие толстовцы. Было это в Полтаве.

И однажды, в лунный морозный вечер, я отправился к Толстому. Отворил дверь лакей в плохоеньким фраке. «Как прикажете доложить?»

— Бунин.

— Как-с?

— Бунин.

— Слушаюсь.

И почти сейчас же вышел Толстой. Улыбался очаровательной улыбкой, внимательно оглядывая из-под нависших бровей и засыпал вопросами:

— Ах, так это с вашим батюшкой я воевал в Севастополе? Ну, садитесь, садитесь! Молодой писатель? Пишите, пишите, только помните: это никак не может быть целью жизни. Так садитесь же!

И потом, не замечая моей растерянности, всё спрашивал:

— Не женаты? Если женитесь, — не оставляйте жену никогда. Не надо бросать, нехорошо.

Позже, в последние дни Толстого, когда он ушел из дома, Бунин часто вспоминал эти слова. Эта встреча подробно описана им в «Воспоминаниях», но вышли они после того, как я записал и опубликовал этот рассказ со слов Бунина.

На этой прощальной встрече перед нашим отъездом в Америку лежал какой-то налет грусти. Когда мы пошли проводить его к автобусу, Иван Алексеевич начал жаловаться на старость, на нужду. Просил, чтобы ему из Америки не высыпали ни книжек, ни журналов с его произведениями, — никогда раньше не видел я в нем такого равнодушия к тому, что он писал... На площади Массена, розоватой в лучах заходящего солнца, он остановился, взглянул на далекие горы, на пальмы и на море. И Бунин, не любивший говорить о смерти и боявшийся самого этого слова, с печальной серьезностью сказал:

— Ну, прощайте! А я, верно, уж здесь помру. Хорошее место.

Мы обнялись и он быстро пошел вперед, — какой-то легкий, необыкновенно прямой и внезапно торжественный.

**

Сначала из Грасса приходили в Нью Иорк лишь короткие открытки на французском языке, — этого требовала цензура военного времени. Начинались они со странных обращений:

— *Mon cher Secrétaire!* — *Mon cher Editeur!* — *Cher Maître!*

Потом, когда война кончилась и цензуру отменили, появилась возможность возобновить нормальную переписку по-русски. Бунин начал писать длинные письма. Во Франции был еще настоящий голод, посылки и даже деньги мало помогали. Письма от Ивана Алексеевича из Парижа или с юга Франции приходили часто, — все они были полны жалобами на недоедание, на болезни, на страшную дороговизну и полное отсутствие денег. С 47 года и до конца жизни Бунина приходилось в частном порядке собирать для него деньги среди богатых людей. Взамен они получали книгу с автографом писателя, — много он раздал таких автографов в последний, тяжкий период своей жизни.

В 47 году я получил от Бунина манускрипт его «Тем-

ных аллей». С разрешения автора, М. А. Алданов и я удалили из рукописи несколько строчек, которые могли вызвать обвинение в «эротизме», — обвинения этого он, впоследствии, всё равно не избежал. Книга вышла в издательстве «Новая Земля» и я начал переговоры с Б. де Танько об издании книги по-английски. Аванс был предложен воистину ничтожный, — 200 долларов! — и Бунин, несмотря на всю свою материальную нужду, от него отказался. Вот одно из писем, относящихся к этому издательскому делу:

23-2-47.

«Мой дорогой, рад, что Бог Вас спас — воспаление легких не шутка! Рад успехам Вашей милой жены — целую Вас обоих сердечно. Что до меня, то я только последние дни с трудом добираюсь с постели до письменного стола на несколько минут (написать две-три записочки): ровно два месяца пролежал в гриппе, с страшным кашлем, от которого не спал (и еще не сплю) по ночам и с потерей крови беспрерывной, следствием которой сделалось то, что доктора сказали: «положение И. А. не безнадежно, но очень серьезно» и что кровяных шариков у меня теперь меньше на $1\frac{1}{2}$ миллиона, чем полагается быть. Доктора, лекарства, питание (кило печенки у нас стоит теперь 600 франков!) разорили меня вдребезги, а тут предстоит мне еще некоторая операция и отправка меня на юг на поправку, но всё же я считаю разумным отказаться пока от издания «Темных аллей» у Танько — 200 долларов не деньги, а книга всё-таки ценность. По-французски эти «Аллеи», выходят вскоре в новом богатом издательстве «Le Pavois», по-английски они про-даны в Лондон, бывшему директору издательства по-койной Вирджинии Вульф, по-русски вышли у Зелюка и не посланы Вам только потому, что, повторяю, целых два месяца лежал без задних ног. Завтра посылаю Вам это зелюковское издание. Вы издали только 1/3 этой книги и тексты ее были плохи.

Сердечный привет!

Ваш Ив. Бунин».

При содействии М. Е. Вейнбаума условия удалось несколько улучшить и Бунин получил 300 долларов. Но книга потом долго не выходила, Иван Алексеевич начал терять терпение, писал гневные письма по адресу Б. Г. Танько и требовал расторжения с ним контракта. Но в это время — в конце 47 года — случилось событие, которое вызвало у Бунина даже не гнев, а подлинный припадок ярости.

В некоторых эмигрантских газетах, в Париже и в Сан Франциско, появились статьи, явно порочившие имя Бунина. Автор одной из этих статей, покойный ныне И. Окулич, обвинял Бунина в том, что он «перекинулся» к большевикам, бывал в советском посольстве и чуть ли не успел съездить в СССР. Литературный критик Г. П. Струве счел нужным выступить в «защиту» И. А. Бунина и сделал это столь неудачно и в такой двусмысленной форме, что автор «Жизни Арсеньева» прислал через меня в редакцию «Нового Русского Слова» письмо резкого содержания по адресу Струве и Окулича.

После обсуждения вопроса с М. Е. Вейнбаумом и длительной переписки с Буниным, письмо решено было не печатать. Но Иван Алексеевич очень болезненно пережил весь эпизод и 18 августа 47 г. написал мне:

«Милый друг Яшенька!* Тысячу лет ни звука от Вас. Где Вы, как Вы и что? Что мои «Темные аллеи»? Переводятся? Надеюсь, да, но кем? И как же насчет заглавия книги? Я писал Вам, — уже давно, предлагал озаглавить первый рассказ «Шиповник» и, значит, всю книгу тоже «Шиповник» — ведь в конце первого рассказа «герой» его вспоминает (уже в дороге) стихи: «Кругом шиповник алый цвет...» Поэтому, думаю, не плохо и заглавие всей книги такое — и даже не «Шиповник», а «Алый шиповник». Жду Вашего ответа.

.....

* «Яшенька», Яков Мойсеевич Цвибак — имя и фамилия автора этих воспоминаний, избравшего литературный псевдоним — Андрей Седых.

Я получил сперва одну вырезку, потом другую из «Русской Жизни», которая где-то в Америке издается, — это «Письма в редакцию». Вот первое, подписанное..... Глебом Струве (он теперь переселился в Америку из Англии, профессорствует в Берклей, в Калифорнии):

«Письмо в редакцию (письмо по старой орфографии). М. Г. г. Редактор! В № Вашей газеты от 19 с. м. напечатана статья *уважаемого** И. К. Окулича*, в которой он, как о факте, говорит о поездке И. А. Бунина после войны, в СССР и о возвращении его оттуда, почему-то *при этом сопоставляя этот факт с судьбой выданного* Москвe американцами и *расстрелянного большевиками* ген. П. Н. Краснова, который, как известно, во время войны стоял на откровенно про-германской позиции. *Не вдаваясь в оценку по существу этого сопоставления*, я считаю своим долгом *внести поправку* в статью И. К. Окулича: И. А. Бунин в Сов. Россию не ездил и, *насколько мне известно*, ездить не собирается, хотя попытки «снаблазнить» его поехать туда и делались. Можно так или иначе *морально-политически* оценивать *некоторые действия* И. А. Бунина после освобождения Франции, но нельзя взваливать на человека обвинение в *поступке*, которого он не совершал. Глеб Струве».

Каково! Ясно, что этот «уважаемый» Окулич приписал мне *«поступок* предательства мою Краснова на расстрел — какой же иначе *«поступок*»? И каков Глеб! Недурно *«защитил* меня, коварная....., — *«защитил* столь *нежно*, по отношению к Окуличу и столь *двусмысленно* по отношению ко мне?.....

И вот ответ Окулича — его «Письмо в редакцию»:

«М. Г. г. Редактор! В № «Р. Ж.» от 11 июля помещено письмо проф. Г. П. Струве, отметившего мою ошибку по поводу поездки Бунина в Сов. Россию и *возвратившегося*. (Опять — все подчеркивания мои.

** Подчеркивания в этом и во всех последующих письмах сделаны рукой И. А. Бунина.

И. Б.). Я, конечно, *не знаю, насколько точны* сведения Глеба Петровича, но я писал о поездке г. Бунина на основании подробного письма человека, проживающего теперь в Западной Европе, *к которому питаю доверие*. Быть может, он и совершил ошибку. Но *действия г. Бунина* самого последнего периода давали право считать сведения о его поездке достоверными. *На это, повидимому, намекает и сам Гл. П.* С истинным уважением Иосиф Окулич».

Глеб был прошлой осенью в Париже и я его видел у брата Алексея и он в постоянной переписке с ним — как же он «сомневается»: ездил я или не ездил? *И почему он «не вдается в оценку по существу этого сопоставления»* (сопоставления Окуличем моей поездки и расстрела Краснова)? И кто же хуже — Окулич или Глеб?

На днях я послал Глебу (Gleb Struve, 202 International House, Berkley, Calif.) такую открытку:*

Да, какие такие «действия» я совершил? Напечатал несколько рассказиков в «Р. Нов.» — да, это очень мне грустно, но нужда, нужда! И всё таки, ужели это «аморально»?

Что еще? Был *приглашен* в посольство *позапрошлой осенью* — и поехал — как раз в это время получил 2 телеграммы от Государственного Издательства в Москве — просьбы немедленно выслать сборник моих последних рассказов для издания и еще несколько старых моих

* Я не привожу текста этого открытого письма из-за его резкостей. А. С.

книг для переиздания. Увы, посол не завел об этом разговора, *не завел и я* — пробыл 20 минут в «светской» (а не советской) беседе, ничего иного не коснулся и уехал. Ужели это тоже аморальные, преступные действия?

Позапрошлой зимой получил от писателя Телешова из Москвы известия, что издается большой том моих избранных произведений Государственным Издательством — и написал столь резкое письмо в это издательство («Вы распоряжаетесь мною, как своим добром и даже не советуясь со мной, точно Вам наплевать на меня»), что получил позапрошлой весной французскую телеграмму от этого Государственного Издательства: «Согласно вашему желанию, издание ваших избранных произведений suspendue».*

Вот, Яшенька, *все мои «действия»*. И никуда я не поехал, хотя советский консул и старший советник посольства довели до моего сведения, что, если бы я поехал, я был бы миллионер, имел бы дачи, автомобили и т. д. *Я остался доживать свои истинно последние дни в истинной нищете да еще во всяческих болезнях старости*. Кто поступил бы так на моем месте? Кто?

Целую Вас и милую певицу.

Ваш Ив. Бунин.

Уж извините — на этот раз посылаю заказной авион».

Я не стал бы опубликовывать это письмо, если бы оно не имело первостепенного значения для определения политической позиции И. А. Бунина по отношению к советской власти после второй мировой войны.

Сейчас в СССР принимаются все меры, чтобы доказать, что Бунин «стремился» вернуться в Россию. Лев Никулин порылся в архивах писателя и нашел письмо, написанное Буниным в Москву другу его юности, писа-

* Приостановлено.

телю Н. Д. Телешову, — тому самому Телешову, которому Чехов перед смертью сказал:

— А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему от меня. Не забудьте.

Вот что написал Бунин Телешову в мае 1941 года, т. е. уже после разгрома Франции :

«...А мы сидим в Juan les Pins (это возле Cannes), где провели лет 17 (чредуя его с Парижем) — теперь сидим очень плохо. Был я «богат», а теперь волею судеб вдруг стал нищ, как Иов. Был «знаменит на весь мир» — теперь никому в мире не нужен, — не до меня миру! В. Н. очень болезненна, чему помогает и то, что мы весьма голодны. Я пока пишу — написал недавно целую книгу новых рассказов, но куда ее теперь девать? А ты пишешь?

Твой Ив. Бунин.

Я сед, худ, сух, но еще ядовит. Очень хочу домой».

Из этих последних и, по человечеству, таких понятных слов «очень хочу домой» и сделали в СССР вывод, что Бунин примирился с советской властью... Визит его в посольство нужно рассматривать в связи с той атмосферой, которая царила в русском Париже после окончания войны. Слишком много было пережито, слишком велики были надежды эмигрантов на то, что «к старому теперь не может быть возврата». И в посольстве побывали в дни побед такие заядлые антикоммунисты, как В. А. Маклаков и адмирал Кедров, один из руководителей Обще-Воинского Союза. Политическая «оттепель» быстро кончилась, очень скоро выяснилось, что надежды эмиграции не оправдались и визиты не повторились.

Как же относился Бунин до конца своих дней к советской власти и к большевизму?

Возьмем для примера слово, сказанное И. А. Бунином 21 июня 1949 г. в Париже, в публичном собрании

по случаю 150-летия со дня рождения Пушкина, — стало быть, слово это было написано и сказано уже после визита в посольство и после инцидента с «письмами в редакцию». У меня сохранился подлинник, написанный рукой Бунина:

«Полтора века тому назад Бог даровал России великое счастье. Но не дано было ей сохранить это счастье. В некий страшный срок пресеклась, при ее попустительстве, драгоценная жизнь Того, Кто воплотил в себе ее высшие совершенства. А что стало с ней самой, Россией Пушкина, и опять-таки при ее попустительстве, — ведомо всему миру. И потому были бы мы лжецами, лицемерами — и более того: были бы недостойны произносить в эти дни Его бессмертное имя, если бы не было в наших сердцах и великой скорби о нашей с Ним родине.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия!

Как же умалчивать, памятуя Его, что уже не только нет града Петра, но что до самых священнейших недр своих поколеблена Россия? Не поколеблено одно: наша твердая вера, что Россия, породившая Пушкина, всё же не может погибнуть, измениться в вечных основах своих и что воистину не одолеют ее до конца силы Адовы.

Ив. Бунин».

21 июня 1949 г.

**

Начиная с этого времени (47-48 гг.) болезни не оставляли Бунина и, вместе с болезнями и полной невозможностью работать, материальные его дела пришли в окончательный упадок. Началась большая нужда. 5 декабря 48 г. Иван Алексеевич прислал мне отчаянное письмо:

«...Решаюсь, наконец, сказать Вам вот еще что: я стал очень слаб, задыхаюсь от энфиземы легких, летом чуть не умер (*буквально*) от воспаления легких, 2 месяца пролежал в постели, разорился совершенно на докторов, потом на бесполезное лечение энфиземы (ингаляцией), которое стоило мне 23 тысячи и т. д.

2 января должен уехать с В. Н. опять на зиму в *Juan les Pins*, чтобы не свалиться опять от парижского климата и холода в квартире... Короче сказать: мне пошел 79-й год и я *так нищ*, что совершенно не знаю, как и чем буду существовать. И вот, от совершенного отчаяния, прошу Вас, — сделайте ради Бога что-нибудь для меня — попросите, напр., Кусевицкого и добрых людей, знакомых его, помочь мне немного.»*

Целую Вас

Ив. Бунин».

Именно в это время разыгрался еще один инцидент: в парижской «Русской Мысли» появилась статья С. В. Яблоновского о Бунине, которая вызвала новый взрыв негодования писателя. Иван Алексеевич тотчас же написал ответное письмо, которое прислал мне с просьбой со-действовать его напечатанию в «Новом Русском Слове». Я начал уговаривать Ивана Алексеевича письмо не печатать, — прежде всего потому, что весь тон его ответа был несдержаный и на читателя мог произвести тяжелое впечатление. Было у меня и другое соображение. В этот момент я был занят систематическим сбором денег для Бунина, нужда которого не знала границ, и мне казалось, что такого рода полемика в газете многих против него восстановит и, в конечном счете, повредит ему не только в моральном, но и в материальном отношении.

Инцидент с С. В. Яблоновским настолько переплетался в нашей переписке с вопросами, связанными с материальной нуждой Бунина, что я вынужден напечатать

* С. А. Кусевицкий, которому я написал, конечно, немедленно и очень щедро отозвался на эту просьбу. Да и не он один. А. С.

несколько писем, которые объяснят состояние престарелого писателя в этот последний, тяжелый период его жизни.

«19 декабря 48 г. Воскресенье, вечер.

Милый друг, я написал Вам: «Письмо в редакцию печатать не надо. Вы правы». Но точно ли Вы правы? Вы писали: «это повредит сбору». Не понимаю, почему мое письмо может повредить!.... старик Яблоновский столь грязно, пошло, глупо написал свой первый пасквиль на меня и так бесстыдно и нелепо солгал на меня, будто я «недавно совершил сальто-мортале» и «перескочил» к большевикам, что очень, очень многие произносят теперь в Париже его имя с омерзением, затем написал, признавшись, что это он автор этого пасквиля, целую статью, в которой с самой горячей настойчивостью повторяет всю брехню на меня и даже привел мои стихи о «Граде Петра» с явной целью напомнить НКВД каков я... написал, кроме того, целую статью в том же самом рожде... Лазаревский... и вот оказывается, что Вы думаете, будто мое разоблачение этих клеветников может мне повредить? Мне кажется, что мое молчание скорее может повредить. Вы говорите, что «ведь никто в Америке не знает этого дела в точности»: если так, так вот как раз мое «письмо в редакцию» и излагает это дело в точности. Письмо мое «резко»? Да ведь я давно заслужил право писать по-своему, так, что всякий поймет, что «Новое Русское Слово» не ответственно за меня, что то, чего оно могло не позволить говорить Иванову, Петрову, оно могло позволить Бунину. *Нет, я очень прошу письмо мое всё-таки напечатать.* Напечатайте в том же номере, где будут напечатаны мои «Заметки» или, лучше, на другой день; соглашаюсь даже на то, чтобы Вы кое-где немножко смягчили мои бранные слова, но напечатайте.*

* Письмо, в котором с разрешения И. А. Бунина были смягчены «некоторые бранные слова» было напечатано в «Новом Русском Слове» 30 декабря 1948 г.

Передайте эту мою просьбу М. Е. Вейнбауму и А. А. Полякову (которого сердечно целую и неизменно люблю). И если это даже «повредит сбору», то что же мне делать? Это будет совершенно дико, нелепо, — но пусть будет так, я не могу ради денег сносить клеветы молча. И вот еще что: я написал Вам о моей нищетой старости в минуту горячего отчаяния и теперь очень раскаиваюсь — тем более, что особенно вижу по нынешнему письму ко мне Марка Александровича,** что во всем Нью Иорке трудно найти среди архимиллионеров больше двух человек, способных дать сто долларов. *И говорю вам истинно от всего сердца: не просите ради Бога ничего ни у кого больше.* А насчет того, что у Вас есть, напишу Вам послезавтра — напишу, что именно Вы должны сделать с этими ста долларами, что у Вас есть: во вторник увижу Кодрянскую. И будьте здоровы и благополучны!

Ваш Ив. Бунин.

P. S. Между нами: я всё-таки не понимаю почему «Нов. Р. Слово» так мало заинтересовано в моем сотрудничестве (хотя Вейнбаум писал мне, что он желает его)? До того мало, что не может напечатать меня (в кои-то веки!) в двух номерах подряд!»

Этот пост-скрипту姆 очень характерен для состояния подозрительной недоверчивости, в которой находился в это время И. А. Бунин. М. Е. Вейнбаум попросту хотел печатать его материал в воскресных номерах, спрашивали считая «Заметки» украшением газеты.

На следующий день после получения этого письма пришел из Парижа новый «экспресс» от Бунина.

«20 декабря, 3 часа дня.

Дорогой Яшенька, от приступов кашля и астматических припадков я засыпаю теперь часа в 4 ночи, а просыпаюсь, отправленный всякими усыпительными, часа в 2 дня. И вот я написал Вам *вчера* *ночью* довольно безумное

** М. А. Алданова.

письмо (и еще более яростное Марку Александровичу в Ниццу), и ночью же поручил Вере Николаевне отправить эти письма, и нынче утром она их отправила, — пока я спал, — а вернувшись с почты, — когда я уже проснулся, — она передала мне Ваше письмо от 16 декабря с чеком. Спешу Вас горячо поблагодарить, и просить считать *мое ночное письмо к Вам как бы несуществующим* (в той части его, где говорится о сборе для меня денег). Вы, конечно, хорошо понимаете, как тяжело переживаю я *вообще* то, что приходится прибегать к этим сборам, а письмо Марка Александровича, полученное мною вчера же, расстроило меня уже окончательно: вот это-то его письмо и заставило меня написать Вам мое вчерашнее, ночное письмо. Он написал мне, что Вы уже давно писали ему, что надежды на сбор денег для меня у Вас «мало», но что теперь Вы всё же взялись за этот сбор и, к счастью, успешно, но тут же *предостерегает меня*: «Яков Мойсеевич надеется, что зимой будет собирать по 100 долларов ежемесячно, но это только надежда и только на *несколько месяцев*, — не обольщайтесь, мол, слишком, Иван Алексеевич! И я ахнул, прочитав это, — подчеркнутое мною зелеными чернилами, — мне стало до боли стыдно и ударила в голову мысль, в какое, значит, тягостное положение попали Вы с этим сбором. А дальше он возлагает все надежды на сбор тогда, когда будет мой «юбилей», т. е. когда мне будет через 2 года 80 лет — и я, человек суеверный, содрогнулся и написал ему, чтобы он ради Бога не говорил мне больше об этом, — ведь я легко могу не дожить до этого «юбилея». А он еще прибавляет: «Не думаю, чтобы нынешний сбор Якова Мойсеевича очень помешал сбору будущему — по слухам Вашего юбилея, однако, люди у Якова Мойсеевича сейчас всё те же, к которым мы обратились бы и для юбилея». И я горячо написал Марку Александровичу, что я больше не желаю никаких сборов — «как-нибудь доживу свою жизнь и без них! Не долго уж осталось!»

Надеюсь, дорогой мой, что Вы поймете меня и извините мою ночную горячность — тем более, что я ведь во-

обще больной человек, не могу пройти 10 шагов без одышки и опять отравляюсь (вот уже несколько дней подряд) впрыскиваниями каких-то пастеровских ваксивов (против одышки), прописанных мне доктором Сергеем Михайловичем Толстым (внуком Льва) — эти впрыскивания нервируют меня ужасно.

Мой горячий привет и благодарность Сориным!

Обо всем остальном напишу Вам завтра — сейчас В. Н. спешит на почту, чтобы отправить Вам это письмо.

Целую Вас сердечно, дорогой Яшенька, и очень, очень благодарю.

Ваш Ив. Б.

P. S. Получили ли Вы заказной авион, что я послал Вам несколько дней тому назад на 'Нов. Р. Слово'?

Следующее письмо датировано тем же днем:

«20 дек., вечер.

Милый друг, шлю авион за авионом!

Повторяю: *вчера ночью*, больше всего под влиянием письма Марка Александровича, написал Вам ужасно взволнованное письмо, которое Вера Ник. нынче утром, пока я спал, отослала Вам. Проснувшись, получил Ваше письмо от 16 дек. с чеком, *на которое тотчас ответил Вам вторым авионом, раскаиваясь в своей болезненной запальчивости*, но слишком кратко, т. е. не сказав всего, что следовало. Поэтому опять пишу, — этот авион пойдет завтра, 21-го.

Завтра я увижу кого следует — припишу Вам в этом авионе, как поступить с тем, что у Вас уже есть для меня *еще*, — говорю о *второй* сотне. Что же до следующих, если таковые будут, то, конечно, прошу Вас держать их у себя до новой для меня надобности в них. Эта надобность может оказаться уже в Juan les Pins, да и то надеюсь, не сразу. А уехать туда мы должны 2-го января, — билеты уже взяты. Запомните же: если, Бог

даст, уедем (я становлюсь всё суевернее, каждый день боюсь, что завтра свалюсь), то вот наш адрес с 3-го января: *Maison Russe, Villa de Fournel, Juan les Pins, A. M., France.*

Еще раз горячо благодарю Вас, дорогой мой, за то живое и усердное внимание, которое Вы проявляете ко мне. Передайте, пожалуйста, мою благодарность Анне Степановне и Савелию Абрамовичу,* — они чрезвычайно тронули меня, скажите это им непременно. Рад сделать надписи для них, но нет ли возможности достать у Марии Самойловны** два-три-четыре экземпляра моего «Речного Трактира»? Может быть, у нее осталось несколько штук? Тогда гораздо лучше будет подарить им (и еще кому-нибудь — кого Вы укажете) «Речной Трактир», чем американское издание «Темных аллей», безбожно сокращенное, составляющее только третью того, что вышло в Париже. (Я бы немедленно выслал Вам несколько штук парижского издания, да ведь эти штуки придут к Вам не скоро, а Вас это «не устраивает»?).

Сообщите, кому еще сделать надписи?

Вы пишете: «Я считаю, что Бунин ни в чьей защите не нуждается». Да, как писатель, — мне совершенно всё равно, что бы ни говорили о моей литературной бездарности. Но как человек, которого упорно порочат, как «перелета», каковым я никогда в жизни не был? Затем Вы добавляете: «мне сейчас, когда я достаю для Вас деньги, не хотелось бы раздувать полемику». Вижу теперь, что я своей настойчивостью насчет напечатания моего «Письма в редакцию» в «Нов. Р. Слове» ставлю Вас и впрямь в неприятное положение. И поэтому — сдаюсь: если Вы решительно против этого «Письма в редакцию» (даже и с теми смягчениями моих резкостей, которые (смягчения) я Вас просил сделать вчера), не печатайте его.*

* А. С. и С. А. Сорины.

** М. С. Цетлина.

* Письмо И. А. Бунина, как уже сказано выше, было напечатано в «Новом Русском Слове» в смягченной редакции 30 декабря 1948 г.

Вместе с В. Н. поздравляем Вас и Вашу милую певицу с праздником и Новым Годом.

Ваш Ив. Бунин».

Через пять дней — 27 декабря — заключительное по этому вопросу и уже совсем спокойное письмо:

«...Спешу еще раз горячо поблагодарить Вас и прошу извинить меня за всё то, что так болезненно писал Вам: во-первых, о сборе на меня — ведь тяжело на страсти лет быть в таком положении, в каком я нахожусь... Насчет печатанья моих «Автобиогр. заметок»: тут я подумал, что «Нов. Р. Слову» они показались тоже (как и мое «письмо в редакцию») слишком *резки* и редакция хотела пустить их так, чтобы прошли они *понезаметнее*, — мне и в голову не приходило, что Вы хотели «побаловать читателя Буниным»; и, наконец, в-третьих, об этом «Письме в редакцию»: сейчас вижу, что Вы правы говоря: «не стоит Вам так волноваться»... От всей души обнимаю Вас. Ваш Ив. Б.».

**

«Автобиографические заметки», о которых идет речь в письмах Бунина, позже им были собраны в книгу «Воспоминания». Бунин на прощанье решил откровенно сказать, что думает о некоторых своих знаменитых современниках. «Декадентов» он открыто презирал и часто приводил отзыв о них Чехова:

— Какие они декаденты! — говорил Чехов. — Они здоровеннейшие мужики, их бы в арестантские роты отдать...

По существу, в современной русской литературе Бунин любил и даже в какой-то степени боготворил только двух человек: Толстого и Чехова... К другим же своим знаменитым современникам, относился он более чем критически и даже, если по существу многое из того, что он писал было справедливо, — никто так не чувствовал

фальшь, пошлость и напыщенность, как Бунин, — оценку он давал беспощадную, а по форме очень уж жестокую. У Горького была «болезненная страсть к изломанному языку», «редкая напыщенность» и непрестанное позерство; поэзию Есенина называл «писарской сердцеципательной лирикой», а самого поэта — непревзойденным по пошлости и способностям кощунства; впрочем, в этом отношении он несколько колебался и по линии кощунства пальму первенства готов был передать Блоку. Когда Бунин начинал говорить о «Двенадцати», он мгновенно терял всякое самообладание. Маяковский был «самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства»; Алексей Толстой сочетал громадный талант с душой мошенника и уже иначе, как «Алешкой» Бунин его и не называл... Всем сестрам доставалось по серьгам: «буйнейший пьяница Бальмонт, незадолго до смерти впавший в свирепое эротическое помешательство»; «морфинист и садистический эротоман Брюсов»; «обезьяны неистовства Белого»; «запойный трагик Андреев»... Становилось страшно. Летом 49 года мы гостили в Париже и несколько раз бывали у Буниных, — главным образом на литературных «четвергах». В этот день у Буниных, на rue Жак Оффенбах, обычно собирались писатели, журналисты и поэты, — выпить чашку чаю, послушать новое произведение собрата и просто посудачить. Бывал А. М. Ремизов. Приходила на эти вечера, между двумя сердечными припадками Н. А. Тэффи и, возвращаясь ночью домой, по тихим улицам Пасси, рассказывала «о жабе, которая забралась ко мне во грудь». Читала свои стихи Софья Прегель. Был еще жив Борис Пантелеймонов, начавший писать чуть ли не в шестьдесят лет. Он приносил свой последний рассказ, входил в спальню Бунина и давал прочесть ему рукопись, — при чтении никто не должен был присутствовать. В один из таких четвергов Пантелеймонов заговорил со мной сиплым голосом. Я спросил, что случилось, и он беззаботно ответил, что так, пустяки, должно быть простуда. Это было начало страшной болезни,

рака горла, который свел год спустя в могилу этого талантливого писателя.

На одном из «четвергов» Бунин прочел нам главу из своих «Воспоминаний». Был он превосходным чтецом, но на этот раз быстро устал, — он был уже совсем болен, вышел к гостям в халате и весь вечер сидел в кресле, прикрытый пледом. Когда он кончил читать, в комнате наступило неловкое молчание... Н. А. Тэффи принялась что-то торопливо искать в своей сумочке. Г. В. Адамович сидел с красным от волнения лицом, — многих из тех, о ком говорил Бунин, он знал лично и расценивал их совсем иначе. Иван Алексеевич поглядел вокруг, понял и обиделся.

— Что же вы молчите?

Чтобы выйти из неловкого положения я шутливо сказал:

— Ну и добрый же Вы человек, Иван Алексеевич! Всех обласкали.

Он рассердился, вышел в соседнюю комнату, где была его спальня, вызвал туда Б. Пантелеимонова и долго сидел с ним вдвоем, прежде чем вернулся к гостям.

Несколько дней спустя, с глазу на глаз, он обрушился на меня: как же это так, неужели я не согласен, что Горький был пошляк и фигляр, что «Двенадцать», — это дешевый набор стишков и частушек и клевета на Россию, и кощунство, и что лирика Есенина «писарская»?

Помню, я особенно обиделся за Максимилиана Волошина, которого в юности знал лично и любил. Бунин написал, что Волошин мог прервать самый горячий теософский спор, чтобы жадно наброситься на еду, и я не выдержал и упрекнул его:

— Да ведь и вы, Иван Алексеевич, очень любите закусить пирожками, и селедку любите, и водку. И, пожалуй, ради закуски пожертвуете любым теософским спором...

Он на мгновенье уставился на меня и вдруг начал смеяться и потом несколько раз повторял:

— Так вы думаете, пожертвую? Что же, может быть, может быть...

За несколько дней до нашего отъезда в Нью Иорк Иван Алексеевич прислал мне в подарок свою фотографию (23-го года!) с нежной, тронувшей меня надписью, но на оборотной стороне не выдержал и написал:

«Оседлаю коня, коня борзого
И помчусь, полечу легче сокола —
Догоню, ворочу мою молодость!
Но, увы, нет пути к невозвратному,
Никогда не взойти солнцу с Запада...
Кольцов.

«Это не чета сукину сыну Есенину. Всю его лживую, писарскую лирику можно отдать за две строки Кольцова:

На заре туманной юности
Всей душой любил я девицу...

Ив. Бунин».

**

Переписка наша по поводу «Литературных Заметок» началась задолго до этой встречи в Париже, летом 49 года. Еще 20 января Бунин писал:

«Милый Яшенька, на том свете Вам кое-что простится за то, что очень успокоили Вы меня в моей позорной старости на некоторое время. Очень обрадовали Вы меня своим последним письмом и еще раз сердечнейше целую Вас.

Целую и за то, что защищаете Вы меня от клянущих меня за мои «Авторские заметки», — за то, что не расплакался я в них на счет Блока, Есенина (о которых еще и

слуху не было в ту пору, о которой говорил я в своих «Заметках», — которые, *кстати сказать, ничуть не есть история русской литературы*) и за то еще, что старик Бунин позволил себе иметь свое собственное мнение о поэтическом таланте величайшего халуя русской «поэзии» Маяковского при всей его халуйской небездарности.

Вскоре я пошлю в «Нов. Р. Слово» свои заметки об Алешке Толстом, — в них я скажу еще несколько слов о Маяковском в свою защиту. Я напомню (очень спокойно), как он называл звезды не иначе как «плевочками», как он описывал свое путешествие по Кавказу: *помочился в Терек, поплевал в Арагву...* и что он «пел» об Америке...

.....

Болен я серьезно: вот уже почти 2 недели жестокое воспаление век и ноздрей. Зуд и слезы, слезы... Целую Вас еще и еще. Ив. Б.»

В апреле того же, 49-го года:

«...И еще: что ж Ваш уважаемый орган хочет или нет продолжение моих «Заметок»? Есть у меня зернистая вещь «Третий Толстой» — об Алешке Толстом — с большими похвалами его таланту писательскому и меньшими — таланту житейскому. Спросите М. Е. Вейнбаума и А. А. Полякова (с поклонами от меня). Да и Ваше мнение скажите — откровенное, тайное (между нами останется!).

Целую Вас и хочу немного удивить: начинаю подумывать об Америке! Серьезно! Можно ли жить где-нибудь недалеко от Нью Иорка, но в другом климате? — ибо в Нью Иорке ведь нельзя жить ни в каком случае. Ваш Ив. Б.»

Перерыв в переписке в несколько недель: мы были в это время в Париже и тогда именно, в один из «четвергов» Бунин читал нам отрывки из своих «Воспоминаний», о чем рассказано выше. А затем письмо от 18 декабря 49 г.

«Милые Седые, благодарим за поздравление, поздравляем и мы Вас с Новым Годом и желаем всех благ.

Галина Николаевна* ответила только на наше *первое* письмо, посланное по ее *первому* адресу. На *второе* большое письмо Веры Ник. ответа нет уже давно.

.....

Вы, верно, уже знаете, что я уже давно предупредил авионом Марка Ефимовича Вейнбаума, что 22 или 23 декабря придет к нему и принесет мою рукопись «Третий Толстой» (мои воспоминания об А. Ник. Толстом) г-жа Майкапар... В этой моей статье, в середине ее, есть кое-что такое, что весьма огорчит поклонников Блока; однако, я извещаю Марка Ефимовича, что я к сожалению, никак не могу согласиться ни смягчить, ни выкинуть *ни одного слова* в ней, в этой статье. Надеюсь, что Марк Ефимович не пожертвует мною ради этих поклонников, статью напечатает — и посему усердно прошу его и Вас и дорогого А. А. Полякова немного нажать на типографию насчет тщательной корректуры.

Целую Вас и милую певицу.

Ив. Б.

P. S. Вы не должны огорчаться за Блока. Это был перверсный актер, патологически склонный к кощунству: только Демьян Бедный мог решиться на такую, например, гнусность, как рифмовка (в последнем мерзком куплете «Двенадцати») — мне даже трудно это писать! — рифмовка «пес» и Христос. Только последний негодяй мог назвать Петра Апостола (пришедшего в Рим на Распятие — и потребовавшего, чтобы Его распяли вниз головой, ибо Он считал, что недостоин быть распятым обычно, так, как распят был Христос) «дураком с отвислой губой», а Блок именно так и написал: «дурак с отвислой губой Симон удит рыбу». И это — о Петре, красота души которого даже увеличивала эту красоту, — вспомните, как горячо кинулся защищать

* Писательница Г. Н. Кузнецова.

Христа (ухо отсек), как отрекся трижды от Него и как плакал потом... Весьма прошу Вас прочесть всё это Александру Абрамовичу и Марку Ефимовичу. А за всем тем я пишу это вовсе не потому, что мне хочется во что бы то ни стало напечатать «Третьего Т.» в «Нов. Р. Слове» — не подходит и не надо печатать. Только, пожалуйста, возвратите мне рукопись заказным пакетом».

Вопреки опасениям Бунина, «Третий Толстой» был, конечно, напечатан. Я заранее известил об этом Бунина и получил от него открытку:

«Милый Яшенька, сейчас пришло Ваше письмо от 23 декабря. Значит «Тр. Толстой» будет напечатан. Будьте добры напечатать подвалами — и вычеркните последнюю фразу: «умер он непонятно рано...» и т. д. — это лишнее.

Что цените мои стихи, — хвалю! Они на редкость блестящи — какая естественность языка, какие рифмы! Еще никто так не писал! Мерси! Мерси!

Пишу в постели — всё слабею, всё больше задыхаюсь.

Целую. Ваш Ив. Б.»

Я нарочно привел это письмо, — одно из редких, в которых Бунин говорит о своих стихах. Иронический отзыв о них прозвучал на этот раз, как некий вызов и самозащита. Бунин ценил свои стихи не меньше, даже, пожалуй, больше своей прозы, и если в последние годы почти перестал писать стихи, то, мне кажется, из-за оскомины, которая появилась у него после Блока и Есенина, из-за необыкновенного их успеха, которого Бунин не понимал. Да и парижские «молодые» поэты, далеко уже к этому времени не молодые, считали бунинскую поэзию старомодной и «несозвучной»... Однажды на Монпарнассе произошел такой случай: некий захудалый поэт сказал Бунину:

— Мы вас любим не за стихи.

— Я вас тоже люблю не за стихи, — ответил ему Бунин.

**
*

В то же, приблизительно, время, когда печатал свои «Автобиографические заметки» И. А. Бунин, начала печатать в «Новом Русском Слове» свои воспоминания и Н. А. Тэффи. Писала она их с необычайным блеском, — особенно поразила ее статья о Мережковских.

С Мережковскими встретился я лично только один раз. Встреча была неприятная и оставила на всю жизнь отвратительный осадок. Но слышал я их на разных вечерах и собраниях часто. Очень жалею, что не был на вечере, где, в пылу религиозно-философского диспута, Мережковский воскликнул:

— Нет, вы скажите: с кем же вы — с Христом или с Адамовичем?

Тэффи написала о Мережковском и Гиппиус очень жестоко, но метко и на мой взгляд, справедливо, и я высказался в этом духе в письме к Ивану Алексеевичу. Должно быть, попутно я написал, что удивлен некоторыми местами из «Третьего Толстого», — знал, что Бунин с Алексеем Толстым дружил и в какой-то степени его даже любил. Ответ не заставил себя ждать:

«1 февраля 1950 г.

.....

«Наслаждались» воспоминаниями Тэффи? «Уж очень» не любите «их обоих»? Вот видите — себе Вы позволяете не любить, а на меня шипите очковой змеей за мою нелюбовь даже к такому мерзавцу и пошлайшему стихоплету «под гармонь», как Есенин!

Когда я был «дружен» с Толстым, он был не только не хуже других (Горького, Андреева, Бальмонта, Брюсова и т. д.), но лучше — уже хотя бы потому, что был в сто раз откровеннее их. Это было до его возвращения в Москву. И на ты я был с ним только в последние месяцы его жизни в Париже.

А Марк Александрович гораздо дальше, — М. А. человек на редкость щепетильный. И это было вполне понятно: столько было в Толстом талантлиости и шарма!

«Мертвому льстить невозможно»? А мерзавцу Блоку необходимо? За что именно «ругают меня»? Ведь мне кажется, что насчет «Двенадцати» я сказал только то, что неоспоримо. Вообще: какая кому беда в том, что мне не нравится в литературе?

Целуюм Вас обоих.

Bien à vous. Jean de Boumine».

В моих записных книжках за 1936 год есть рассказ о случайной встрече И. А. Бунина и М. А. Алданова в Париже с А. Н. Толстым. Встретились в кафе на Монпарнасе. Произошла заминка. Наконец, Бунин подошел к Толстому. Облобызались... Алданов, также очень друживший с автором «Петра I», отказался подойти и поздать ему руку. И поступил он, как показало дальнейшее, совершенно правильно.

Бунин просидел с Толстым весь вечер. «Алешка» расточал комплименты и звал вернуться в Москву:

— По твоим, брат, книгам, учатся все молодые советские писатели... Да тебя примут с триумфом...

Бунин слушал, улыбался, и, как всегда, когда не знал, как ответить, немного иронически говорил:

— Мерси. Мерси!

Прошли две или три недели. В «Литературной Газете» появились заграничные впечатления Алексея Толстого. Писал он, примерно, так:

— Встретил случайно Бунина. Он был этой встрече рад. Прочел я его последние книги. Боже, что стало с этим, когда-то талантливым писателем! От него осталось только имя, какая-то кожура и т. д. Дальше следовали еще строк 20 в таком же духе. Очень чувствительного Ивана Алексеевича эти впечатления не могли оставить равнодушным... Думаю, именно тогда и родилась у него мысль написать «Третьего Толстого», которую осуществил он только пятнадцать лет спустя. Но, как гово-

рят французы, la vengeance est un plat que l'on mange froid.*

**
*

Открытка воздушной почтой от 13 февраля 50 г.:

«Вот, милый Яшенька, кое-что из дневников Блока:

«Все близкие (в литературе) на границе безумия, больны, расшатаны... У модернистов только завитки во-круг пустоты...»

— «Таланты пошлости»...

— «Литература смердит»...

1912 г.

— «Была ли воля к революции? Со стороны кучки...»

— «Пулеметы на грузовиках... Немецкие деньги!»

— «Русск. народ блажит тупо, подловато, себе на уме... глупый, корыстный, тупой, наглый...»

— «Германские деньги и агитация огромны... Ночь, на улицах галдеж, хохот...»

1917 г.

Вот тебе и «Двенадцать»!

**

Заняв однажды определенную позицию, Бунин уж не любил с нее сходить и не терпел возражений, — был уверен в своей абсолютной правоте. Так случилось и с Блоком, и с Есениным. Дошло до того, что противоположную точку зрения он воспринимал довольно болезненно, как некое личное оскорбление. В ноябре 50 г. в «Новом Русском Слове» появилась статья Георгия Александрова «Памяти Есенина».

Бунин прислал мне необычайно гневное письмо с бранью по адресу автора и закончил его угрозой:

«И это (т. е. выступление Александрова о Есени-

* Месть, это блюдо, которое надо есть холодным.

не) совершенно отбивает у меня охоту продолжать печататься у Вас».

Мне не оставалось ничего иного, как ответить Ивану Алексеевичу, что письмо направлено не по адресу: по вопросу о дальнейшем сотрудничестве следовало бы обратиться к редактору газеты М. Е. Вейнбауму, а не ко мне.

К этому времени «Воспоминания» Бунина уже вышли. Он прислал мне несколько экземпляров для продажи, — я получал у состоятельных людей по 25-50 долларов за экземпляр и деньги ежемесячно пересыпал ему в Париж. Но личного экземпляра мне он на этот раз не прислал, а пообещал сделать это в будущем, и я ответил, что высыпать не надо, так как я уже книгу прочел.

Ответ Бунина от 28 ноября 50 г.

«Получил Ваше письмо, дорогой мой (от 26 ноября). Вы пишете:

«Ваше *сердитое* письмо в связи со статьей о Есенине Вы направили не по адресу...»

Я бы на Вашем месте не употреблял слова «сердитое» — это звучит как-то не очень хорошо — насмешливо, с некоторым превосходством над «сердитым стариком», а я вовсе не сердился, а писал Вам по приятельски, как одному из главных членов редакции, а заявлять официальный «протест», как Вы выражаетесь, редактору не считал нужным, т. е. не хотел *раздувать* этой маленькой истории. И хорошо, что Вы ему не показали записку к Вам, а то вышло бы, что я хочу как-то «*полупротестовать*», не прямо, а через Вас. Если бы хотел, хватило бы смелости «протестовать» непосредственно.

Затем: «Не нужно мне высыпать Вашей книги — я уже давно ее приобрел и прочел».

Это тоже звучит весьма недружелюбно, пренебрежительно. Жалею, что не послал, не думал, что Вы оби-

дитесь. Издательство «Возрождение» скupое: дало мне очень мало авторских. Поэтому из того, что получил, послал Вам спешно в надежде, что продадите, ибо «касса» наша очень плачевна: Рогнедов добыл нам всего тысячу сто, а у нас долгу было тысяч полтораста. Вот я и думал: выпрошу еще и тогда и пошлю Вам. Ну, а вышло, что я Вас обидел. И, верно, обидел еще тем, что не поблагодарил Вас за прекрасную статью Вашу обо мне — не вру, употребляя слово «прекрасную». Но не забывайте, что я совсем больной: ночи не сплю от удушья до утра, отравляясь усыпительными.

Ваш Ив. Б.»

Так, буквально до конца своей жизни не мог Бунин успокоиться. В последний раз виделись мы в Париже в декабре 51 года, когда Иван Алексеевич уже не покидал постели. Печальная была эта встреча... За два года болезнь изменила его ужасно. В приезд 49 года он еще выходил в столовую и присаживался за стол, принимал людей. На этот раз все было иначе. Вера Николаевна, сама очень постаревшая и измученная, с вечным страхом в глазах, вышла ко мне и как-то смущенно сказала:

— Яну плохо, он совсем уж не встает и никого не принимает. Но вас, конечно, рад будет увидеть...

Мы зашли в столовую и сели за стол, накрытый клеенкой. Она рассказывала, жаловалась на старость, на болезни. Время от времени за стеклянной дверью, в соседней комнате, кашлял Иван Алексеевич. Кашель у него был сухой, мучительный, разрывавший грудь.

Наконец, она повела меня в эту комнату. Там был полумрак и стоял тяжкий запах, какой бывает в комнатах больных, боящихся открытых окон, — сложный запах лекарств, крепкого турецкого табака и немощного, старческого тела. Горела в комнате одна лампочка. В углу, на низкой железной кровати, под солдатским одеялом, полулежал, полусидел Бунин.

Сначала я испугался, — так страшен был его вид.

Он как-то высох, стал маленький, щеки впали и обросли седой щетиной, — чем-то он напомнил мне Шмелева. И на этом измученном лице, изрытом глубокими морщинами, я увидел большие глаза, внимательно на меня смотревшие, — он хотел, видимо, проверить, какое впечатление произвел на меня... Тяжело вспоминать, но я так растерялся, что даже не успел придать лицу то «бодрое» выражение, с которым принято входить в комнату к тяжело больным людям, и так беспомощноостоял несколько секунд, а потом шагнул вперед, чтобы его обнять. Но Иван Алексеевич меня остановил:

— Дорогой мой, теперь больше ни с кем не целуюсь и за руку не здороваюсь... Боюсь, занесут заразу. Да и Вас могу заразить: меня вечно теперь лихорадит.

Постепенно начал я успокаиваться и осмотрелся. Квартира на рю Жак Оффенбах была старая, никогда не отличалась особой чистотой и не ремонтировали ее, должно быть, с незапамятных времен. Но теперь всё это пришло в окончательное запустение и имело какой-то отталкивающий вид. Я спросил, много ли он курит, и Иван Алексеевич ответил, что курит, но только французские, а не американские папиросы, и вот кто-то привез турецкий табак... Бунин стал говорить о писательнице, которую он не любил и с которой я не встречался, объясняясь свое к ней отношение, потом крепко закашлялся и долго молчал. Видно было, что разговор его утомлял и, кажется, впервые Иван Алексеевич ни разу не улыбнулся, никого не изобразил, ни над кем не пошутил. Да и не до того ему было! Всё же, я быстро убедился, что при ужасающей физической слабости, при почти полной беспомощности, голова его работала превосходно, мысли были свежие, острые, злые... Зол он был на весь свет, — сердился на свою старость, на болезнь, на безденежье, — ему казалось, что все хотят его оскорбить и что он окружена врагами. Поразила меня фраза, брошенная им вдруг, без всякой связи с предущим:

— Вот, я скоро умру, — сказал он понизив голос

почти до шопота, — и вы увидите: Вера Николаевна напишет заново «Жизнь Арсеньева»...

Мне показалось сначала, что он шутит. Нет. Бунин не шутил, смотрел испытующе, не спускал с меня пристальных глаз и, как всегда бывало с ним в минуты душевного расстройства, словно отвечая на свои собственные мысли, сказал:

— Так... так...

Понял я его много позже, когда уже после смерти мужа Вера Николаевна выпустила свою книгу «Жизнь Бунина».

**
*

Это было наше последнее свидание. Вернувшись домой, я нашел рассказ Бунина «Мистраль», написанный им в бессонную ночь в Грассе:

«...Горит свет над старой дубовой кроватью, на которой уже столько лет сплю я в этом старом чужом доме, лежит на приподнятой подушке худое лицо, видны под светом, падающим сверху, темные впадины глаз, виден белеющий лоб, косой ряд в серебристых волосах... Потом я опять поднимаю руку — и только гул и тьма, в которой всюду реет что-то как-бы светящееся...

Ты взошел на корабль, совершил плаванье, достиг гавани: пора сходить».

**

Да, жить Бунину оставалось уже очень не долго, и какая же это была страшная жизнь! Теперь больше мне писала Вера Николаевна, до мельчайших подробностей описывая болезнь Бунина, день за днем, диагнозы врачей... Самое удивительное было то, что именно в этот последний период, когда он уже по-настоящему умирал, Иван Алексеевич откуда-то находил еще силы собирать материалы для последней своей книги о Чехове. Делал заметки, диктовал, сам много о Чехове читал. У меня сохранились два письма Бунина, написанные в

этот период. Когда-то красивый, твердый почерк, аккуратно, с нажимом выписанные буквы, тщательно расположенные знаки препинания, отдельные фразы, подчеркнутые цветными карандашами, чтобы больше оттенить значение слов, — всё это исчезло. Почерк изменился, как-то заострился, буквы временами плясали по бумаге... Но это был Бунин, — такой же «сухой и ядовитый», каким был он всегда, всем и всеми недовольный и беспомощный в своей болезненной и несчастной старости.

«15 января 51 г.

Дорогой Яшенька, очень благодарю за 50 долларов — сколь ни скромна эта «сумма» (особенно теперь, когда кило ужасно соленой, очень скверной ветчины стоит у нас 1.000 франков) всё-таки и она порадовала, — мы уж совсем впали в нищету за три недели моего плеврита с почти каждодневным приездом доктора, с пенисилином, с сульфамидами и т. д. Как ухитрился я поймать этот плеврит, не выходя из своей клетки, — ведь я теперь совсем не могу ходить из-за дьявольской боли в правой коленке — один Бог ведает! Вообще мое 80-летие вышло просто замечательно! «Визгу много, а щетины — на грош!» — как говорили на ярмарках про свиней самой низкой породы. Была надежда на Pearl Buck, а от нее до сих пор ни полушки нет. И что это значит — ума не приложу!* И если бы я не продал в Америку и тут Calman Levy мои «Воспоминания», пришлось бы В. Н-не на улице милостинку просить. (Во французском тексте «Воспоминаний», у С. Levy «Пир во время чумы» — басня Крылова).

2 экз. «Восп.» завтра Вам вышлю.

Пришлите мне, пожалуйста, Вашу новую книжку.

Мне Есенин уже осточертел, но не обрывать г. Александрова я всё-таки не мог. А что написал Адамович

* Писательница Пэрл Бок согласилась возглавить в С. Штатах комитет по случаю 80-летия Бунина и собрать для него некоторую сумму денег.

о Есенине! Пушкинская свобода оказалась у Есенина! Есенинское хулиганство очень похоже на пушкинскую свободу! Есенин отлично знал, что теперешний читатель всё слопает. Нужна рифма к слову гибель — он лупит наглую х..... «выбель». Вам угодно прочесть, что такое зимние сумерки? Пожалуйста:

Воют в сумерки долгие, зимние
 Волки грозные (!) с тощих полей,
 По дворам в догорающем инее
 Над застreichами храп лошадей...

Почему храпят лошади в зимние сумерки? Каким образом они могут храпеть над застreichами? Молчи, лопай, что тебе дают! Благо никто уже не знает теперь, что застreichой называется выступ крыши над стеной. Не знает и Адамович, — он вряд ли знает даже и то, что такое лошади! И умиляется до слез, как «блудный сын» (Есенин) возвращается к родителям в деревню, погибшую оттого, что возле нее прошло — уже 100 лет тому назад, шоссе, от которого «мир таинственный» деревни «как ветер, затих и присел». Я нынче тоже написал, как именно Есенин возвращается к маме и папе — написал à la Есенин.

Папа бросил плести лапоть,
 С мамой выскоцил за тын,
 А навстречу мамы с папой
 Их законный сукин сын!

Целую Вас и прошу извинить меня за Есенина.
 Ваш Ив. Бунин».

Все письма его последнего периода полны одним и тем же: страхом смерти, жалобами на физические страдания и на бедность, — безысходную и беспросветную. В бессонную ночь с 25 на 26 мая 1952 г., — он теперь почти не спал по ночам, — Бунин писал:

«Дорогой Яшенька!

Очень благодарю за сердечное письмо, тронут, что оценили Вы новое, полное издание моей книги, в которой, правда, не мало хорошего, хотя «Издательство имени Чехова» в своих объявлениях о книгах, изданных им, усмотрело в этой моей книге только то, что я провел детство, отрочество и юность в тех местах, где жил Тургенев, Толстой, Фет и еще кое-кто из больших писателей, что, кстати сказать, и неверно, ибо уже в ранней юности я жил в Харькове, в Полтаве, странствовал по всей Малороссии и т. д.

«И-во имени Чехова», в лице Н. Р. Вредена, взяло на себя обязательство (в августе прошлого года) издать три мои книги: вот ту, что уже издало («Жизнь Арсеньева»), сборник моих новых рассказов и том избранных произведений, но когда я стал просить сказать мне, когда будет издана моя вторая книга (дабы знать, когда именно будут у меня средства к дальнейшему существованию) — увы, уже недолгому! — издательство всё не отвечало мне, а когда наконец ответило, ответ показался мне оскорбительным, ибо предложено мне было прислать мои «рукописи» в «Издательство» и ждать, когда будет «включен» в издательстве вопрос о их судьбе. Вы знаете, что я к такому отношению ко мне не привык. Вот тут и пробежала между нами черная кошка...

Пишу полусидя в постели, — был особенно тяжело и *сложно* болен недели три (да и сейчас еще болен, поправляюсь медленно) и *совершенно* обнищал от докторов, лекарств, уколов пеницилина и еще чего-то, от лабораторных исследований... И Вера Ник. того гляди, — избавь Бог! — свалится: ведь весь дом на ней — и я: бледна, слаба, больна артритом... Целую Вас.

Ваш Ив. Б.»

Конфликт с Чеховским издательством был улажен благодаря вмешательству М. Е. Вейнбаума, которому удалось получить аванс в несколько сот долларов и перевести деньги в Париж. Но это было последнее письмо от

Ивана Алексеевича. Потом писала только Вера Николаевна и вот, из последнего:

«...Около десяти часов мы остались вдвоем. Он попросил меня почитать письма Чехова, мы вторично прочитывали их и он говорил, что нужно отметить... дочитала до письма В. Н. Ладыженскому 4 февраля 1899. И Ян сказал: «Ну, довольно: устал». «Ты хочешь, чтобы я с тобой легла?». «Да»...

Я пошла раздеваться, накинула легкий халатик. Он стал звонить.

— Что ты так долго?

— Но ведь нужно и умыться и кой-что сделать на кухне.

Затем, это было 12 часов, я, вытянувшись в струнку, легла на его узкое ложе. Руки у него были холодные, я стала их согревать, и мы скоро заснули. Вдруг я почувствовала, что он приподнялся. Я спросила, что с ним?

— Задыхаюсь. Нет пульса... дай солюкамфр.

Я встала и накапала двадцать капель.

— Ты спал?

— Мало... дремал... Мне не очень хорошо. Дай я спущу ноги.

Я помогла ему. Он сел на кровать. И через минуту я увидела, что его голова склоняется на его руку. Глаза закрыты, рот открыт. Я говорю ему: «Возьми меня за шею и приподнимись, и я помогу тебе лечь», но он всё молчит и недвижим... Конечно, в этот момент он ушел от меня».

Перед смертью, кажется накануне, Иван Алексеевич сказал жене:

— Душа с телом расстается.

**
*

На этом кончаются мои воспоминания о Бунине. Но мысль часто возвращается к нему, — сложный был он

человек, и трудно было разобраться в его противоречиях и в тех чувствах, которые он вызывал.

Бунина можно было и любить, и ненавидеть. Он мог пленять людей своим великим писательским мастерством, своим необыкновенным человеческим шармом, и также легко поражал их своей несдержанностью, часто доходившей до грубости, житейской мелочностью и эгоизмом. Было в нем много горечи, чувства какой-то литературной несправедливости, жертвой которой он стал.

«Слишком поздно родился я, писал Бунин в своих «Воспоминаниях». Родись я раньше, не таковы были бы мои писательские воспоминания. Не пришлось бы мне пережить и то, что так нераздельно с ними: 1905 год, потом первую мировую войну, вслед за ней 17-ый год и его продолжение, Ленина, Сталина, Гитлера... Как не позавидовать нашему праотцу Ною! Всего один потоп выпал на долю ему. И какой прочный, уютный, теплый ковчег был у него и какое богатое продовольствие: целых семь пар чистых и две пары нечистых, а всё-таки съедобных тварей... И отлично сошла его высадка на Арарате, и прекрасно закусил он и выпил и заснул сном праведника, пригретый ясным солнцем, на первозданно чистом воздухе новой вселенской весны, в мире, лишенном всей допотопной скверны, — не то что наш мир, возвратившийся к допотопному! Вышла, правда, у Ноя нехорошая история с сыном Хамом. Да ведь на то и был он Хам. А главное: ведь на весь мир был тогда лишь один, лишь единственный Хам. А теперь?»

Да, в трудное время жил Бунин. Неумолимо строгий к другим, он и к самому себе бывал беспощаден. Органически не мог работать плохо, бесконечное число раз исправлял свои старые вещи, тщательно перечитывал их перед каждым новым изданием, вычеркивал, заменял слова и фразы, шлифовал. С тем, что он писал, можно не соглашаться, но при этом вызывал он невольное восхищение: как написано! Какая внутренняя сила, четкость, какой безжалостный, всё замечающий глаз... Может быть чрезмерно суровое его отношение к современникам про-

исходило из-за внутреннего сознания некоторой несправедливости: долгие годы в России широкая читательская масса захлебывалась Леонидом Андреевым, Скитальцем, упивалась «буревестниками» и «гордыми соколами» Горького, а Бунина снисходительно называли «последним дворянским писателем» и читали мало, — считался он писателем для «элиты». Нобелевская премия пришла слишком поздно, к шестидесяти годам, и связанное с ней материальное благополучие продолжалось недолго. И в последних писаниях Бунина всегда чувствовалась большая горечь, жалоба на упущеные возможности, на изломанную жизнь, на пережитые «окаянные годы». Как же не понять его горечь и его ненависть к литературным лже-пророкам, к писателям на ходулях, к поэтам под гармошку? Слишком много видел он в жизни людей с непомерно раздутыми репутациями, слишком рано его абсолютный писательский слух почувствовал всю их фальшь и ложь.

Сам Бунин не придерживался правила: о мертвых нужно говорить либо хорошее, либо молчать... Однажды, в пылу спора, указав на какое-то место в «Воспоминаниях», казавшееся мне особенно несправедливым, я спросил:

— А что, Иван Алексеевич, если когда-нибудь и о Вас будут писать в таком тоне?

Бунин побледнел, как-то весь выпрямился и холодно ответил:

— Не будут, дорогой. Не заслужил. Литературной проституцией никогда не занимался.

И я думаю, что о Бунине можно писать всё, — о необыкновенном его обаянии, о его больших человеческих слабостях и о великом писательском даре, который бережно и целомудренно он пронес через всю свою жизнь.

МОНПАРНАССКИЕ ТЕНИ

БЫЛО это очень давно, в двадцатых годах. Мы бродили целыми днями по Парижу в поисках работы, а по вечерам собирались в «Ротонде», тогда еще грязном, полутемном и дешевом кафе. «Ротонда» была нашим убежищем, клубом и калейдоскопом. Весь мир проходил мимо, и мир этот можно было рассматривать, спокойно размешивая в стакане двадцатисентовое кофе с молоком.

Летом мы сидели под открытым небом, за мраморными столиками, расставленными прямо на тротуаре. Осенью и зимой холод загонял нас внутрь. Было тесно, накурено, но от громадной чугунной печки, стоявшей посреди зала, веяло жаром.

Кто только не отогревал свои озябшие руки у этой печки! Не считался еще знаменитым Сутин. Он приходил поздно ночью со своим другом, скульптором Оскаром Мещаниновым, в синем берете, с каким-то красным шелковым шарфом вокруг шеи. Мы заказывали кофе и первые глотки отпивали молча. Потом Сутин, задыхавшийся от спертого, прокуренного воздуха, начинал кашлять. Мещанинов серьезно ему говорил:

— Хаим, старайся не кашлять. Перестань, Хаим.

И Сутин переставал кашлять, с виноватым видом поглядывал по сторонам и долго молчал. Он вообще не любил разговаривать, но Мещанинов старался развлечь большого друга и заставлял его забыть все неудачи, — никто не хотел покупать сутинских полотен. Мещанинов был, вероятно, единственным человеком в мире, который уже тогда верил, что Сутин — большой художник... Приходили

Марк Шагал, бородатый Ван Донген и японец Фужита, женившийся на красивой монпарнасской модели, с которой он познакомил меня во время сеанса, в своей студии у парка Монсури. Черноволосый, большеглазый Пикассо бывал в «Ротонде» каждую ночь. Его трехгрудых женщин я никогда не понимал и не любил, и знакомства с ним не искал. После полуночи появлялся Ларионов. Он внимательно рассматривал висевшие на стенах картины своими маленькими, кукольными глазками, так не подходившими ко всей его крупной фигуре и к большой голове.

В «Ротонде» познакомился я со скульптором Наумом Аронсоном. Одевался он, как в конце прошлого столетия в Париже одевались импрессионисты. Носил широкополую, черную шляпу, небрежно завязывал галстук «лавальер» и даже пальто на нем выглядело, как крылатка.

— Вам нравится эта шляпа? — спросил меня Аронсон.

— Приехал я в Париж давно, еще до войны и, конечно, первым делом купил себе такую шляпу. Чтобы не казаться слишком молодым, запустил бороду. Пожил года два или три на Монпарнасе, а потом решил съездить в родной польский городок — повидать родителей и себя показать, — какой дескать, у них сын стал — француз! Жили мои родители даже не в городе, а в глухом mestечке. Конечно, евреи пришли поглядеть, как выглядит сын старого Аронсона... Посмотрели с уважением на мою бороду, на широкополую черную шляпу, которая напоминала им совсем не монпарнасскую богему, а нечто родное и почтенное и, наконец, сказали отцу:

— Кто бы мог подумать, что Париж — такой религиозный город?

Между столиками белкой мелькал Мане-Кац. Мне кажется, что копна волос на его голове уже в эти годы начала седеть и он тогда уже придумывал о самом себе смешные анекдоты. Когда началась вторая мировая война, во Франции мобилизовали резервистов и крошечного Мане Каца призвали в армию. Был июнь трагического

40-го года. Париж эвакуировался, но еще не верилось: неужели столица Франции будет отдана немцам? Мне нужно было получить какой-то пропуск и из Палаты Депутатов я пошел пешком на рю Сэн Доминик, в военное министерство. У ворот стоял солдатик. Он спал, опираясь на винтовку, как на палку, и из под фуражки выбивались космы седых волос. Это был Мане Кац.

— Что ты тут делаешь? — спросил я старого друга.

Он проснулся, подтянул сползвшую на спину шинель и горделиво ответил:

— Не видишь? Охраняю военное министерство.

Мане Кац, охраняющий военное министерство! Именно в эту секунду я все понял: Париж будет отдан немцам. Франция проиграет войну, уже проиграла...

В тот же день я уехал из Парижа в Бордо.

Но я отклонился, — вернемся к «Ротонде» двадцатых годов. Всегда вместе приходили туда Александр Яковлев и Шухаев. Худой и всклокоченный Борис Григорьев ожесточенно спорил с Билибиным. Иван Яковлевич слегка заикался, с трудом находил нужные слова и сердился:

— Ч-что за чорт! К-кликушествуешь... Э-это уже Иван Карамазов до тебя спрашивал и ответа не получил...

На тротуаре разгуливал одетый ковбоем художник Грановский, погибший в депортации. У него никогда не было ни гроша и он почему-то считал долгом всем об этом сообщать стереотипной фразой:

— Смертельный дикофт!

«Дикофтом» страдали все хронически, — и Константин Терешкович, и скульптор Владимир Издебский, и Борис Поплавский. У него, собственно, была не бедность, а нищета, возведенная в некий культ. Жили мы все в убогом отеле на улице Гобеленов, питались в русской студенческой столовке на рю де Валанс, причем Терешкович умудрялся за два франка съесть двойную порцию котлет. Он делил со мной комнату и иногда дарил мне свои картины. Мы прятали полотна под кровать, а через не-

которое время Терешкович извлекал их на свет Божий, внимательно рассматривал, покачивая головой, и тут же уничтожал. И при этом клялся, что уничтоженную вещь заменит новой, лучшей. Он до сих пор должен мне несколько полотен.

В столовку приходил и Борис Поплавский. Он был в дождевике, под которым виднелась несвежая рубаха или рваный свитер. Днем и ночью он носил темные очки, писал великолепные и неуклюжие стихи, но нам казалось, что Поплавский стеснялся своей поэзии, как чего-то недостойного. Зато о спорте он говорил много и горячо, — любил показывать свои бицепсы и над кроватью его висела пара боксерских перчаток.

Жил он больше по ночам, а днем лежал в своей комнате на кровати, лицом к стене. Когда я приходил и спрашивал, почему он валяется без дела, Борис в стенку отвечал:

— Не мешай. Я — молюсь!

Признаюсь, — в Поплавском было много порочного и отталкивающего, — его физическая неопрятность и привычка придумывать несуществующие вещи. И за всем этим я, — да и не я один, — как-то проглядел внутренний мир этого человека, его постоянную и страстную борьбу с самим собой, его богоискательство и трагический тупик, в котором Поплавский, в конце концов, очутился.

Временами казалось, что он — попросту лентяй, не хочет и не признает никакого труда. Писанье стихов или дневника мы не считали тогда «работой», а он к тому же говорил:

— Наслаждаюсь равнодушием к литературе.

Жил он в абсолютной духовной изолированности, в атмосфере постоянного душевного смятения и «непросветленного хаоса». Много позже, когда писания Поплавского пошли по рукам, В. Ф. Ходасевич сказал:

— Доморощеный демонизм.

В 38 году, после смерти Поплавского, вышли от-

дельной брошюре выдержки из его дневников. Их было тяжело читать: вдруг стало понятно это лежание на постели, его молитвы и «медитации», — все то, над чем мы так невинно посмеивались на улице Гобеленов... Он писал:

«— Так, в грехе, одиночество мое с Христом еще глубже, ибо нет такого греха, кроме гордости, куда Христос не имел бы доступа.

— ...медитировал на мокрых улицах и дома. Отсутствие благодати. Молитва впустую. Совсем забыл о Роберте. Помню, молился: Дай мне, Боже, его адскую тьму, его освободи. Печальное, печальное лето.

— Все считали, что я сплю, on dort que je dors, je prie; так иногда целый день подряд, в то время, как родные с осуждением проходят мимо моего дивана. Но ответ почти никогда не приходит в результате в конце молитвы».

И еще одна запись, очень характерная для настроений Поплавского и, как это часто с ним случалось, не совсем грамотная:

«В совершенном покое, до отказа «выкатив» коричневую грудь, прохожу я одною ногою по воде (левая пошвь пьет воду), другою ногою в огне (правый резиновый башмак греет), нарочно усиливая, сгущая нищету своего лица (не бреюсь) и своего платья (люблю рванье), тогда, когда я победил всякую жажду и усомнился в счастье Иисуса.»

И правда, — нищета постепенно возводилась им в некую степень совершенства и добродетели, в ней видел он очищение от греховности. Бывали периоды, когда Поплавский не имел ничего — кроме пары худых штанов и рваной фуфайки на смуглом теле. В своем романе «Аполлон Безобразов», который печатался лишь отрывками, Поплавский так описал этот период своей жизни:

«Аполлон Безобразов уже давно не платил за комнату и уже давно подготовлялся к новой жизни. Мы по-

степенно выносили — кладя под пальто все, что можно было унести, и это было немного, ибо книг мы тогда не читали, вещей же у нас почти не было. Грязную посуду Аполлон Бозобразов, утомясь ее зреющим, разбивал; если мы со сковородки, пили из никогда немытой кружки, пахнущей зубной пастой, привкус которой он даже любил, находя в нем особую свежесть. Пили и ели из одного и того же безразлично, ошибались пиджаками, в чем я тоже находил особую христиански-братьевскую усладу, близкую тому унижению и вместе с тем освобождению, которое чувствует женщина, впервые изменяющая своему мужу, или опустившийся человек, впервые вынужденный надеть чужую, заношенную шляпу.»

Что же осталось от всего этого? «Доморошенный демонизм» дневников, несколько сумбурных, очень небрежно написанных глав романа и три тоненькие книжечки стихов, из которых, по признанию самых горячих поклонников Поплавского следовало бы многое удалить. Г. В. Адамович назвал Поплавского «гениально вдохновенным русским мальчиком, нашим Рэмбо». Даже В. Ф. Ходасевич считал его одним из самых одаренных поэтов эмиграции... Все это было возможно, но судьба не отпустила Поплавскому нужного времени: он умер 32 лет, и умер смертью трагической и загадочной.

**

Когда я приехал на квартиру Поплавского, тело еще не успели убрать.

Он лежал на зеленом, продавленном диванчике, из которого торчали пружины, — лежал в привычной позе, лицом к стене, — словно спал или молился. На теле были видны фиолетовые кровоподтеки, — следы того яда, которым он случайно отравился, или которым отравил его приятель-француз... Отец Поплавского стоял у диванчика и, вытирая слезы, тихо рассказывал мне свою версию смерти Бориса.

Помню: он говорил, что Борис, вероятно, принял слишком большую дозу наркотика. Но на Монпарнассе потом рассказывали разное, — было предположение, что он сознательно покончил самоубийством — в дневнике часто возвращался к мысли о смерти: «что толку, если сама жизнь есть мука?» Была и другая версия, которую приводит в своей книге «Встречи» Ю. Терапиано: «Поплавский погиб случайно, точнее — был убит. За несколько недель до смерти, он познакомился на Монпарнассе с одним молодым человеком. Этот юноша, несомненно безумец и маниак, начал соблазнять нескольких посетителей русского Монпарнасса возможностью испытать необыкновенные ощущения.

Судьба устроила так, что из трех человек, выразивших согласие, в установленный день на свидание явился один Поплавский, а на утро их обоих нашли мертвыми.

Через несколько дней после смерти Поплавского и его соблазнителя, француженка, подруга молодого человека, опубликовала письмо, написанное ей ее другом в день рокового «опыта»: безумец сообщал ей, что решил покончить самоубийством, но так как боится умирать один, то уведет с собой кого-либо из своих знакомых.

В соответствии со своим планом, самоубийца подготовил под видом наркотика ядовитую смесь — и только благодаря случайности Поплавский явился его единственной жертвой».

Возможно. Но в одном Ю. Терапиано ошибается, утверждая, что к наркотикам Поплавский никогда не прибегал... Долгое время у меня хранилась фотография Поплавского, которую дал мне его отец для газеты. На обороте этой карточки, рукой самого Поплавского, было написано:

— Если хочешь я напал на след кокаина и т. д. (Далее два неразборчивых слова). Героин 25 фр. грамм, кокаин 40 фр.

В конце концов, это неважно — хотел ли он впервые испытать новое, сильное ощущение, или, как видно из за-

писки, был уже наркоманом. Смерть пришла к этому трагическому неудачнику, как избавительница.

Спи. Забудь. Все было так прекрасно.
 Скоро, скоро над Твоим ночлегом
 Новый ангел сине-бело-красный
 Радостно взлетит к лазурям неба.

**
 *

Странные люди проводили в «Ротонде» свои ночи. Был один француз, высокий, чахоточный, с головой, вечно обвязанной белой чалмой. Никто так и не понял, почему этот спокойный и с виду неэксцентричный человек избрал столь необыкновенный головной убор. Непонятно было и то, как больной мог сидеть в этой прокуренной комнате, где с трудом дышали даже люди со здоровыми легкими. В конце концов, он исчез. Никто не знал, что с ним стало. Может быть он умер.

Приходил в своих белых хитонах аскетический Рэймонд Дункан, брат Исадоры. Никого не удивляло появление шведа, гримировавшегося под Христа. У него были длинные белокурые волосы, белокурая борода, и он всегда ходил в сандалиях на босу ногу. В самой глубине зала немытый, неопрятный Илья Эренбург попыхивал трубкой и беспокойно советовался с друзьями: возвращаться ему в Москву, или нет? Возвращаться явно не хотелось, или он попросту боялся. Об этих своих колебаниях, о которых на Монпарнассе знали решительно все, Эренбург в своей книге «Люди, годы, жизнь» упоминает только вскользь. С эмигрантами он встречался охотно, но не все эмигранты хотели встречаться с Эренбургом. Бунин отказался подать ему руку и ушел с вечера, на котором читал Эренбург. Именно в те времена Алексей Толстой, часто появлявшийся на Монпарнассе в обществе Бунина и Алданова, дал Эренбургу кличку, оставшуюся за ним на всю жизнь:

— Тухлый дьявол.

И при этом Толстой добавлял:

— От тебя, Илья, любой бандит убежит!

Большим успехом у посетителей «Ротонды» пользовалась маленькая негритянка Айша. Говорили, что Айша — самая красивая натурщица Монпарнаса, но она никому не позировала. Она появлялась поздно ночью в ярко-зеленом тюрбане, низко надвинутом на лоб и сидела до закрытия кафэ, пока ее не уводил в свою мастерскую очередной друг.

Сенсацию производило появление Кики. Настоящего ее имени никто не знал. Она пришла на Монпарнас давно и сразу покорила все сердца. С огромными, черными, странно вырезанными глазами, накрашенная до последнего предела, с еще прекрасной в те годы фигурой и красивыми чертами оригинального лица, она в первую минуту невольно ошеломляла. Впрочем, пристально смотреть на нее не рекомендовалось, — Кики немедленно обрушивалась на зрителя с ужасающей бранью, которой мог бы позавидовать любой портовый грузчик. Лексикон Кики являлся своего рода аттракционом «Ротонды».

Появление ее встречали бурными криками. Кики делала реверанс, задирала до пояса юбку, под которой ничего не было, а затем усаживалась за первый попавшийся столик. Через десять минут она уже бушевала, ссорилась с подругой или с последним по счету романом. К чести ее надо сказать, что все романы были по любви, а не по расчету. В молодости мать Кики пробовала использовать темперамент дочери в коммерческих целях, но из этого ничего не вышло. Кики рассталась с родительским домом и стала вольной моделью. Всякий раз, дойдя до этого места своей биографии, Кики делала попытку раздеться и показать, что тело ее — подлинная находка для художника, пишущего «ню».

Потом Кики наскучило быть моделью и она сама стала писать маслом. Из художницы превратилась в певицу и своим репертуаром наводила панику на посетителей кафэ «Четырех Женщин», куда ее пригласили выступать.

Что влекло нас в «Ротонду» в длинные, зимние вечера? Свет, жарко натопленная печь, какой-то уют, которого не хватало в наших жалких отельных комнатах, встречи с новыми людьми, женщины. Мы сидели часами у чашки давно выпитого кофе, не смея уйти, — может быть потому, что за кофе нечем было заплатить, а может быть просто содрагаясь при мысли, что нужно будет выйти на улицу, в сырость, туман, белесоватую мглу, в которой шипели газовые фонари.

В один из таких вечеров, в «Ротонду» вошел высокий человек, — худой, с надменным лицом. Это был Маяковский. Обычно его сопровождала стройная, красивая блондинка, которую многие из нас знали — племянница известного русского художника. Кажется, она сама немного занималась живописью.

Она выехала из Москвы в Париж, по вызову отца, и в Россию не вернулась. Маяковский познакомился с ней в Париже в 28 году, влюбился сразу, до конца:

Представьте:
 входит
 красавица в зал,
 в меха
 и бусы оправленная.
 Я
 эту красавицу взял
 и сказал:
 — правильно сказал
 или неправильно? —

Из другого стихотворения Маяковского мы знаем, что он сказал в эту первую встречу:

Ты одна мне
 ростом вровень,
 стань же рядом
 с бровью брови,

дай
про этот
важный вечер
Рассказать
по человечьи.

Роману с первым пролетарским поэтом большого значения она не придавала. Маяковский же любил с чисто русским надрывом. Приближался день, когда надо было возвращаться. Поэт предложил любимой женщине поехать с ним в Москву. Последовал решительный отказ. К тому же, в Москве у Маяковского был другой роман. Возвращения его с большим нетерпением ждала Лия Брик, автор сценария фильма «Буря над Азией». О романе этом, известном всей литературной Москве, знала и парижская подруга Маяковского.

В «Ротонде» в этот свой последний парижский приезд Маяковский много пил, был груб, люди его сторонились. Он ругал эмигрантов, гниущий Запад, буржуазную культуру, «лавочников», поговаривал о том, что из Нотр Дам, к сожалению, нельзя сделать приличного рабочего клуба, — в соборе слишком темно... Все эти разговоры не помешали пролетарскому поэту одеться с иголочки, купить новенький автомобиль и тут же протелеграфировать в Москву Л. Брик:

— Покупаю Рено красавец серой масти 6 сил 4 цилиндра кондукт интерьер двенадцатого декабря поедет Москву.

Вместе с красавцем серой масти уехал и Маяковский. На прощанье умолял художницу вернуться в Москву:

Мы
теперь
к таким нежны —
спортом
выпрямишь не многих, —
вы и нам

в Москве нужны,
 не хватает
 длинноногих.
 Не тебе,
 с снега
 и в тиф
 шедшей
 этими ногами,
 здесь
 на ласки
 выдать их
 в ужины
 с нефтяниками.
 Ты не думай,
 щурясь просто
 из-под выпрямленных дуг.
 Иди сюда,
 иди на перекресток
 моих больших
 и неуклюжих рук.

Маяковский уехал, а в апреле 1930 года мы узнали, что он покончил самоубийством.

**

Казалось, «Ротонда» будет существовать вечно, — незыблемая основа парижской нашей жизни. Но однажды владелец кафэ с таинственным видом заявил, что «дело расширяется»: куплены два соседних дома, стена будет разрушена, и «Ротонда» превратится в кафе нового типа, — с дансингом, баром и рестораном. Первое впечатление было ужасное: неужели «Ротонду» закроют, хотя бы на несколько дней? Возникла мысль о коллективном протесте, о массовой демонстрации, но как-то все уладилось. Решено было оставить «Ротонду» открытой на время работ и потом, несколько месяцев подряд, мы

слышали, как за досчатой, наскоро воздвигнутой стеной что-то ломали, строили, стучали молотками.

Прощание со старой «Ротондой» было устроено 31 декабря 1922 года, в день св. Сильвестра, патрона и покровителя холостяков. Меню было простое: сандвичи и белое вино. До сих пор я не могу забыть чудовищную батарею бутылок, расставленных на столиках. Около двух часов утра все было выпито и съедено. Из соседнего бала «Бюльье» приходили маски, которых окатывали водой из сифонов. По усиленному требованию публики Кики открыла в себе новый талант и мастерски исполняла танец живота на столе, в «костюме натурщицы», под аккомпанемент всего зала:

Траваджа ла мукара,
Траваджа боно . . .

В 3 часа утра Воловик и Терешкович предложили мне организовать на бульваре Монпарнас бега с препятствиями, всевозможные игры в честь св. Сильвестра и, под самое утро, похищение сабинянок, не оказавших, впрочем, никакого сопротивления . . .

Таков был конец «Ротонды». На следующее утро все переменилось. Открылся новый, огромный и неуютный зал с мраморными стенами. Появилась длинная терраса, освещенная, как цирковая арена. Гарсоны сменили свои черные засаленные пиджаки на белые смокинги и, что было совсем плохо, цену на кофе удвоили. Наверху уже подывали саксофоны, столики были накрыты подкрахмаленными скатертями и мэтр д-отель почтительно подавал «нефтяникам» карточку шампанских вин. Внизу еще была старая публика, — художники, литераторы и люди неопределенных занятий, считавшие себя богемой, но чувствовали мы себя на положении бедных родственников.

Первой дезертировала Кики, ушла напротив, в кафе «Дом». На прощанье она устроила грандиозный скан-

дал и поклялась, что ноги ее больше не будет в этом заведении. За Кики последовали скандинавы и американцы. Наша группа перекочевала в «Хамелеон», — простой кабачок на углу Кампань Премье, где за пиво брали всего несколько су и где можно было петь, танцевать, устраивать литературные вечера и чувствовать себя, как дома.

Вскоре возник здесь литературно-артистический кружок «Гатарапак», о котором оставила интересные воспоминания поэтесса Галина Издебская. Выступали в «Хамелеоне» мим и танцор Валентин Парнах и странный человек с чувственным ртом и безумными глазами, называвший себя Марк Мария Людовик Талов, — к своему имени он скромно прибавлял эпитет: «трубадур России». Александр Гингер читал о том, как «дядя Джим пришел один из первых, на просторы Западного края». Бывал здесь один из «серапионовых братьев» Владимир Познер, ставший впоследствии французским писателем. Но в эти годы он был еще «Вова» Познер, читал стихи, и когда женился, на Монпарнассе передавали остроту, якобы сказанную его женой:

— Лучше Познер, чем никогда!

Сергей Шаршун читал свои русские и французские стихи. Приходил «живой труп» Миша Струве. По ошибке я напечатал в газете о нем некролог, и Струве был очень обижен: кое что из его биографии по газетной спешке я непростительно выпустил. Длинноволосый, весь изломанный, Н. Н. Евреинов требовал театрализации жизни и детеатрализации искусства. Помню в «Гатарапаке» художника С. Лисима. Севрская «Мануфактура» уже изготавлия по его рисункам замечательные фарфоровые вазы, о которых сам Лисим мог только мечтать: вазы стоили слишком дорого.

Однажды в «Хамелеоне» появился юноша с лицом оливкового цвета, с черными как смоль, вьющимися волосами, — настоящий цыганенок. Это был Довид Кнут. В первый же вечер он поднялся на невысокую эстраду и начал читать стихи из книги, странно озаглавленной

«Моих тысячелетий», — стихи о бессарабских степях, о кочующих таборах цыган, о звенящих песках пустыни и о женщине, имя которой было — Сара.

Поздно ночью мы вышли втроем: Довид, я и эта Сара, смуглая красавица с библейским лицом. Мы шли без цели, через спящий, всегда немного загадочный ночной Париж, любовались гирляндами уличных фонарей и где то, на берегу Сены, Довид снова начал читать стихи:

Ночью гуще тоска и вино
(Сердце бьется сильнее во мраке).
Ночью белое часто — черно,
Смерть им делает тайные знаки.

Ночью даже счастливого жаль.
Люди ночью слабее и ближе...
Расцветает большая печаль
На ночном черноземе Парижа.

Именно с этой ночи началась наша дружба, частые совместные прогулки, чтение стихов. У нас была трудная молодость. Довид Кнут считался уже известным поэтом, о стихах его было написано не мало хвалебных рецензий, а он занимался тем, что с утра до вчера развозил по городу на «трипортере», трехколесном велосипеде, какие-то товары и этим зарабатывал на пропитание. Потом стало трудно, не хватило сил, и он поступил в мастерскую, красил шелковые шарфы-пушуары... В стихотворении «Благодарность» Кнут говорил о своей «дороге скучной», но это не так, или относилось только к бытовой стороне его жизни, а по настоящему душа его «рвалась и клокотала». Он любил жизнь во всех ее проявлениях, но больше всего любил Поэзию, — именно с большой буквы. В стихах Довида Кнута странно переплетались два мира: мир русский и мир еврейский и всегда, постоянно, в душе поэта звучали эти две основные темы — русская всечеловечность и голоса еврейских пророков, и

обе эти темы как-то незаметно сливались. «Особенный, еврейско-русский воздух... Блажен, кто им когда либо дышал».

Проходили годы. Уже вышло несколько сборников его стихов. О качестве их можно спорить. Говорили, что Кнуту чужда чистая лирика, что в поэзию его слишком часто врывалась проза. Так ли это? Взять, хотя бы, это его стихотворение, — в нем никакой прозы нет:

Ничего не поймешь, ни о чем не расскажешь,
Все пройдет, пропадет без следа.
Но вернешься домой, но вернешься — и ляжешь,
И поймешь: не забыть никогда.

Я не помню о чем мы с тобой говорили,
Да и слов не ищу, не найду.
Ни о чем не расскажешь... Пахло липой и пылью
В бесприютном вокзальном саду.

Но как будто мне было предсказано это,
Будто были обещаны мне
Кем то (кем — я не помню), когда то и где то
Этот вечер, и встреча, пятна зыбкого света,
Беспределная ночь в вышине...

Будто было когда-то обещано это:
Ненасытные руки твои,
Ветер, запах волос, запах позднего лета,
Скорбный голос, любовною скорбью согретый,
Темный воздух последней любви.

Последней любовью его была Ариадна Скрябина, дочь композитора, — молоденькая, хрупкая, экзальтированная женщина, память о которой нужно бережно хранить: она отдала жизнь за други своя.... Ариадна не знала полумер, не умела останавливаться на полпути. Она полюбила Давида Кнута, полюбила евреев и сама перешла в еврейство. Как все прозелиты, в своей новой вере

она была необычайно страстна, порой даже нетерпима. Однажды, Кнут пришел с ней в редакцию «Последних Новостей». Возник беспорядочный разговор и кто-то рассказал в шутку еврейский анекдот. Как разволнивалась Ариадна! Слезы брызнули из ее глаз. Мы с Довидом долго старались ее успокоить, а она все не могла прощить нам этот еврейский анекдот.

Несколько лет спустя, во время германской оккупации, она пошла с мужем в Резистанс, где ей поручили переводить группы евреев в Швейцарию. Довид Кнут благополучно перевел свою группу. Ариадна попала в засаду, была схвачена милиционерами и на месте расстреляна.

**

В последний раз мы встретились с Довидом в Париже, летом 49 года. Встречались несколько раз. Говорили об Ариадне, о страшных годах. Кнут принес свою новую книгу «Избранные стихи», в которой собрал все лучшее, что написал, словно предчувствовал, что это будет последняя его книга, прощание с жизнью. Побывал он в Израиле, собирался туда снова вернуться. И мы, считавшие себя старыми парижанами, с удивлением признались друг другу, что Париж стал чужим. У одного дом был в Нью Йорке, у другого — в Тель Авиве. С гордостью и радостью Довид Кнут говорил о вновь открытой им прародине:

Звезды светят
Из синего небытия
На дома, синагогу и площадь.
Возвращается ветер
На круги своя
И шуршит в эвкалиптовой роще.

Возвращается ветер
На круги своя
Подбирает листок эвкалипта.

Здесь, по этим
Неисповедимым краям
Шли, стеная, рабы из Египта.

Возвращается ветер в стотысячный раз
Бередит ханаанские склоны.
Как свидетели правды, о Экклезиаст,
Непреклонные скалы Хермона.

Возвращается с моря, высоких вершин
Влажной вечностью веющий ветер.
Кипарисы качаются чинно в тиши,
Как свидетели горя и смерти.

Возвращается жизнь: вот Ревекка с водой
На плече... Это было и будет.
Возвращается смерть. Но под той же звездой,
Не рабы умирают, а люди.

На последнее наше свидание в Париже он пришел не один. С ним была совсем молоденькая женщина, почти подросток, с бледным, прозрачным лицом. И со смущенной улыбкой Довид сказал, что это — его жена, актриса, и они едут вместе в Израиль.

Кнут был из тех людей, которые абсолютно не выносят одиночества и страшатся безлюбия. Жизнь продолжалась. Он очень торопился жить.

Жить ему оставалось пять лет.

Мне рассказывали, что в Израиле Кнут работал для театра «Габима», переводил, пытался писать на новом для него языке. Жил он в привычной нужде, да другой жизни не знал и не хотел. Потом пришла болезнь. И всякий раз, когда я думаю, что Довида Кнута больше нет, я перечитываю его строки, страшный протест против неизбежного конца, протест человека, который мучительно любил жизнь и не принимал ухода в поэтическое бессмертие:

Я не умру. И разве может быть,
Чтоб — без меня — в ликующем пространстве
Земля чертила огненную нить
Бессмысленного, радостного странствия.

Не может быть, чтоб без меня — земля,
Катясь в миражах, цвела и отцветала,
Чтоб без меня шумели тополя,
Чтоб снег кружился, а меня — не стало!

Не может быть. Я утверждаю: нет!
Я буду жить тугой, упрямолобый,
И в страшный час, в опустошенном сне,
Я оттолкну руками крышку гроба.

Я оттолкну и крикну: не хочу!
Мне надо этой радости незрячей!
Мне с милою гулять плечом к плечу!
Мне надо солнце словом обозначить!

Нет, в душный ящик вам не уложить
Отвергнувшего тлен, судьбу и сроки.
Я жить хочу, и буду жить и жить,
И в пустоте копить пустые строки.

О ГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
От автора	5
А. И. Куприн	7
Вошин и Мандельштам	18
М. А. Алданов	34
С. В. Рахманинов	55
К. Д. Бальмонт	68
Три юмориста	76
В. Л. Бурцев	91
А. М. Ремизов	102
Ф. И. Шаляпин	121
П. Н. Милюков	144
Старость Глазунова	179
И. А. Бунин	189
Монпарнасские тени	247

ТОГО ЖЕ АВТОРА

Старый Париж. — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1926 г. С иллюстрациями Б. Гроссера.

Монмартр. — Изд. Я. Поволоцкого. Париж, 1927 г. С иллюстрациями Б. Гроссера.

Париж ночью. — Изд. «Москва», 1928 г. С предисловием А. И. Куприна. Обложка Ал. Яковлева.

Там, где жили короли. — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1930 г.

Там, где была Россия. — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1931 г.

Люди за бортом. — Изд. О. Зелюка, Париж, 1933 г.

Дорога через океан. — Изд. «Новый Журнал», Нью Иорк, 1942 г.

Звездочеты с Босфора. — Изд. «Нового Русского Слова», Нью Иорк, 1948 г. С предисловием И. А. Бунина. Обложка Р. Ван-Розена.

Сумасшедший шарманщик. — Нью Иорк, 1951 г. Обложка Л. Михельсона.

Только о людях. — Нью Иорк, 1955 г. Издание «Нового Русского Слова».

Цена 4 долл.

Издание «Нового Русского Слова»
243 West 56 Street
New York 19, N. Y.